Редьярд Киплинг

Рикки-Тикки-Тави и другие истории из Книги джунглей (сборник)

Редьярд Джозеф Киплинг

Рикки-Тикки-Тави и другие истории из Книги джунглей (сборник)

Серия «Классика в школе (Эксмо)»

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=31505438
Рикки-Тикки-Тави и другие истории из Книги джунглей / Редьярд Киплинг: Э; Москва; 2018
ISBN 978-5-04-092693-0, 978-5-04-092709-8

Аннотация

Рассказы из «Книги джунглей» Р. Киплинга изучают на уроках литературы в начальной школе.

Содержание

Редьярд Киплинг Рикки-Тикки-Тави и другие истории из Книги джунглей (сборник)

Белый котик

Все это случилось много лет тому назад на острове Св. Павла, в месте, которое называется Северо-Восточный мыс, далеко-далеко в Беринговом море. Зимний королек Лиммершин рассказал мне эту историю, когда ветер прибил его к оснастке шедшего в Японию парохода, и я отнес его в каюту, согрел и несколько дней кормил, так что наконец он мог опять улететь на остров Св. Павла. Лиммершин – странная птичка, но он умеет говорить правду.

Северо-Восточный мыс посещают исключительно по делам, а настоящее дело там бывает только у котиков, и в летние месяцы они сотнями и сотнями тысяч приплывают к его берегам из холодного Северного моря. Для котиков нигде в море нет таких удобств, как у берегов Северо-Восточного мыса.

Морской Ловец отлично знал это и с наступлением вес-

ны несся к берегам Северо-Восточного мыса и целый месяц бился там со своими товарищами за хорошее место на берегу, поближе к морю. Ему уже минуло пятнадцать лет; это был крупный серый зверь с мехом, образовавшим почти гриву на его плечах, и с длинными злобными клыками. Поднимаясь на своих передних ластах, он возвышался больше чем на четыре фута над землей, а если бы кто-нибудь решился его взвесить, он потянул бы почти семьсот фунтов. Все тело этого котика покрывали шрамы, следы жестоких боев, но он всегда бывал готов снова драться. Морской Ловец склонял голову набок, точно боясь взглянуть в глаза своему врагу, потом как молния кидался на него. Когда крупные зубы Морского Ловца впивались в шею его противника, тот, конечно, мог вырваться, если находил в себе на то силы, только Морской-то Ловец не помогал ему в этом отношении.

Зато Морской Ловец никогда не преследовал побежденного: это было против правил Берега. Он только желал получить место подле моря для своей «детской». Однако ввиду того, что сорок или пятьдесят тысяч котиков каждую весну стремились к тому же, визг, плеск, рев, вой и шум на берегу сливались во что-то страшное.

С небольшого холма, называемого холмом Гутчинсона, вы могли бы видеть пространство в три с половиной мили, все покрытое дерущимися; волны прибоя усеивали головы котиков, спешивших к земле тоже ради борьбы. Они дрались среди прибрежных камней, дрались на песке, дрались на ис-

тертых гладких базальтовых камнях «детских», потому что были так же тупы и несговорчивы, как люди. Их жены являлись только в последних числах мая или в начале июня; они не желали быть растерзанными. Молодые двух-, трех- и четырехлетние котики, которые еще не обзавелись хозяйством, миновали ряды дерущихся, около полумили проходили в глубь острова и целыми легионами принимались играть на песчаных дюнах, уничтожая все зеленое, что только вырастало из земли. Их называли холостяками, и, может быть, на одном Северо-Восточном мысе собиралось около двухсот или трехсот тысяч таких молодых котиков.

Однажды весной Морской Ловец только что закончил свой сорок пятый бой, когда Матка, его нежная жена с кроткими глазами, вышла из моря, а он схватил ее за шиворот, опустил на свой участок и ворчливо сказал: «Как всегда, опоздала! Где ты была?»

В течение тех четырех месяцев, которые Морской Ловец оставался на отмелях, он ничего не ел, а потому бывал обыкновенно в дурном настроении. Матка знала, что ему не нужно отвечать. Она огляделась кругом и нежно промурлыкала:

– Как ты заботлив. Ты опять занял прежнее место!

– Я думаю – занял! – сказал Морской Ловец. – Посмотри на меня.

Он был весь исцарапан; из его тела кровь сочилась местах в двадцати; один его глаз почти совсем закрылся, а бока были в лохмотьях.

– Ох вы, мужчины, мужчины, – сказала Матка, обвевая себя задним ластом. – Почему это вы не можете быть благоразумны и спокойно занимать места? Право, можно думать, что ты дрался с касаткой Убийцей Китов.

– С половины мая я только и делал, что дрался. В нынешнем году берег наполнен до противности. Я встретил по крайней мере сотню котиков с Луканнонской отмели, которые отыскивали пристанище. Почему это никто не хочет оставаться в своих собственных областях?

– Я часто думала, что мы были бы гораздо счастливее, если бы устроились на острове Выдры, а не оставались в этом густонаселенном месте, – заметила Матка.

– Ба, на остров Выдры плавает только молодежь. Если бы мы отправились туда, все подумали бы, что мы боимся. Нам необходимо заботиться о сохранении приличий, моя милая.

Морской Ловец гордо втянул голову в плечи и несколько минут притворялся, будто он спит, а между тем все время наблюдал, нельзя ли подраться. Теперь, когда на земле уже собрались все котики и их жены, вы могли бы за несколько миль от берега услышать в море их шум, покрывавший громкий прибой волн. На берегу было более миллиона котиков: старые котики, маленькие котики, их матери и холостяки. Они дрались, ссорились, кричали, ползали и играли; уплывали в море; толпами и полками возвращались к суше; лежали на каждом футе берега, насколько мог видеть глаз; бригадами шныряли, пронизывая туман. Здесь почти всегда

туманно, за исключением тех дней, в которые на короткое время выходит солнце и всему придает цвет жемчуга или радуги.

Детеныш Матки, Котик, родился в разгар смятения; он весь состоял из головы и плеч и смотрел бледными, водянисто-голубыми глазами; все, как подобало новорожденному детенышу. Тем не менее в его шерстке было что-то, что заставило Матку очень внимательно присмотреться к нему.

– Морской Ловец, – сказала она, помолчав, – наш маленький будет белый.

– Пустые прибрежные раковины и сухие водоросли! – фыркнул Морской Ловец. – В мире никогда не бывало белого котика.

– Я не виновата, – сказала Матка, – но теперь будет. – И она запела тихую воркующую песенку, которую все матери поют своим детенышам-котикам: «Не плавай, пока тебе не минет шести недель, не то твоя голова погрузится в воду».

Конечно, сперва маленькое существо не понимало ее слов. Котик возился и играл подле своей матери и научился быстро уходить прочь, когда его отец дрался с другим котиком и бойцы с громким ревом катались по скользким камням. Матка отправлялась за едой в море и кормила детеныша только через день; но тогда он жадно бросался на пищу и ел столько, сколько мог съесть.

Раз Котик прошел подальше, в глубь острова, и встретил там десятки тысяч своих сверстников. Они играли, как ще-

нята; засыпали на чистом песке, просыпались, снова начинали возиться. Взрослые не обращали на них внимания; холостяки держались на своем участке, а потому у малюток было много времени для забав.

Возвращаясь с рыбной ловли в глубоком море, Матка прямо направлялась к месту их игр и принималась звать Котика голосом овцы, призывающей своего ягненка, и ждала, чтобы он откликнулся. Едва услышав его блеяние, она прямиком двигалась в его направлении, сильно ударяя о землю своими передними ластами и расталкивая головой малышей, которые падали вправо и влево от нее. Несколько сотен матерей всегда отыскивали своих маленьких в месте их игр, и юным котикам порядочно доставалось от них; но Матка справедливо говорила Котику:

– Пока ты не лежишь в грязной воде и не худеешь, пока жесткие песчинки не попадают в царапины или порезы на твоем теле, пока ты не плаваешь в бурю, с тобой ничего не случится.

Маленькие котики плавают не лучше маленьких детей. Когда Котик в первый раз вошел в море, волна унесла его на такую глубину, где он мог утонуть; его большая голова погрузилась в воду; его маленькие задние ласты поднялись вверх совершенно так, как Матка говорила ему в колыбельной песне, и, если бы следующая волна не кинула его обратно, он утонул бы.

После этого он научился так лежать в луже на отмели,

чтобы набегающие волны покрывали его и поднимали, в это время он загребал воду ластами и смотрел, не подходят ли большие волны, которые могли бы ему повредить. Две недели учился он работать своими ластами и все это время то входил в воду, то выходил из нее; с криком, похожим на кашель, или хрюканьем выползал на берег повыше и спал, как кошечка, на песке; потом опять отправлялся в море и наконец понял, что его настоящая стихия – вода.

Теперь вы можете представить себе, как он веселился со своими товарищами, то ныряя под морские валы, то поднимаясь на гребень водяной гряды, то выходя на землю среди шипения воды и разлетающихся брызг, когда большой вал, крутясь, набегал на отмель. Порой, стоя на хвосте, и он почесывал голову, совершенно как старые котики, или играл в игру «я король замка» на осклизлых, покрытых водорослями скалах, едва выдававшихся из воды. Время от времени Котик замечал подплывающий к берегу тонкий плавник, похожий на перо крупной акулы, и знал, что это Убийца Китов (касатка), который поедает молодых котиков, когда может добраться до них. И Котик, как стрела, мчался к отмели, а плавник медленно удалялся.

В конце октября целые семьи и стаи котиков стали покидать остров Св. Павла, направляясь в открытое море; бои изза места прекратились, и холостяки теперь играли, где им вздумается.

– В будущем году, – сказала Котику его мать, – ты будешь

холостяком, а пока тебе нужно научиться ловить рыбу.

Они вместе пустились по Тихому океану, Матка показала Котику, как надо спать на спине, прижав плавники к бокам и выставив носик из воды. В мире нет колыбели спокойнее длинных, гладких качающихся валов Тихого океана. Когда Котик почувствовал легкий зуд во всей коже, Матка сказала ему, что он начинает понимать воду; что этот зуд и покалывание предвещают наступление дурной погоды и что, значит, ему нужно плыть во всю силу и уйти подальше.

– Скоро, – сказала она, – ты будешь также понимать, куда именно надо плыть; до поры же до времени следи за Морской Свиньей, дельфином; он очень умен.

Целая толпа дельфинов ныряла и неслась, разрезая воду, и маленький Котик помчался за ними.

– Почему вы знаете, куда надо плыть? – задыхаясь, спросил он.

Вожак выпучил свои белесоватые глаза и нырнул в глубину.

– У меня зуд в хвосте, малыш, – сказал он, – а это обозначает, что позади меня буря. Вперед! Когда ты будешь южнее Стоячей Воды (он подразумевал экватор) и у тебя поднимется зуд в хвосте, знай, что перед тобой буря, и поворачивай на север. Вперед! Я чувствую, что вода здесь очень опасна.

Это одна из тех вещей, которые узнал Котик, а он постоянно учился. Матка сказала, что ему следует плыть за треской и палтусом вдоль подводных мелей, научиться обследовать

обломки судов, лежащие на сотню саженей под водой; проскальзывать, точно ружейная пуля, в один иллюминатор затонувшего корабля и вылетать из другого, как это делают рыбы; танцевать на гребнях волн, когда молния бороздит небо, и вежливо махать одним своим ластом летящим по ветру короткохвостому альбатросу и морскому соколу; выскакивать из воды на три или четыре фута, как дельфин, прижимая к бокам ласты и изгибая хвост; не трогать летучих рыб, потому что они состоят из одних костей; на полном ходу и на глубине десяти саженей отрывать зубами лакомый кусочек спинки трески; никогда не останавливаться и не смотреть на лодку или на корабль, особенно же на гребную шлюпку. Через шесть месяцев Котик не знал о рыбной ловле в открытом море только того, чего и знать не стоило; и все это время ни разу не вышел на сушу.

Но однажды, когда Котик дремал, лежа в теплой воде где-то невдалеке от острова Хуана Фернандеса, он почувствовал леность, какую ощущают люди, когда весна забирается в их тело; в то же время ему вспомнились славные твердые берега Северо-Восточного мыса за семь тысяч миль от него, игры его товарищей; запах морской травы и рев котиков во время боя. В ту же самую минуту он повернул к северу, торопливо поплыл в этом направлении и скоро встретил десятки своих товарищей, которые все спешили туда же. Они сказали:

– Здравствуй, Котик! В этом году мы, холостяки, можем протанцевать «огненный танец» среди прибрежных камней

Луканнона и поиграть на молодой траве. Но откуда взял ты такой мех?

Теперь у Котика была почти совершенно белая шкура, и хотя он гордился ею, но ответил только:

– Плывите быстрее. Мои кости тоскуют по земле.

Наконец все они вернулись к родным отмелям и услышали, как старые котики дрались между собой в клубах тумана.

В первую ночь Котик протанцевал «огненный танец» со своими сверстниками. В летние ночи все пространство моря от Северо-Восточного мыса до Луканнона полно огня, и каждый котик оставляет позади себя след, похожий на полосу горящего масла; когда он прыгает, поднимается пламенный всплеск. А от волн, набегающих на берег, несутся огненные струи и крутящиеся блестящие воронки. Потом молодые холостяки отправились дальше на свои участки и катались взад и вперед в молодой зелени, рассказывая друг другу о том, что они делали, когда были в море. Они говорили о Тихом океане, как мальчики говорят о чаще леса, в которой собирали орехи, и, если бы кто-нибудь понял речь котиков, он начертил бы такую карту океана, какой еще никогда не бывало.

Трех- и четырехлетние холостяки понеслись с холма Гутчинсона, крича:

– Прочь с дороги, молодежь! Море глубоко, и вы не знаете всего, что в нем есть. Погодите, раньше обогните Горн. Эй ты, одногодка, где ты взял эту белую шубу?

– Нигде не взял, – ответил Котик, – она выросла!

Как раз в ту минуту, когда он хотел опрокинуть говорившего, из-за песчаной дюны вышли двое черноволосых людей с плоскими красными лицами, и Котик, еще никогда не видавший человека, сердито кашлянул и опустил голову. В нескольких ярдах от людей холостяки сгрудились, глупо глядя на них. Пришедшие были важные личности: Керик Бутерин, глава охотников на этом острове, и Паталамон, его сын. Они пришли из маленькой деревни, стоявшей меньше чем в полумиле от «детских», и теперь толковали, каких котиков следует прогнать к бойням (котиков гоняли совсем как овец), с тем чтобы позже их шкуры были превращены в куртки.

– Хе, – сказал Паталамон, – посмотри-ка! Белый котик!

Лицо Керика Бутерина побелело, несмотря на слой сала и копоти, покрывавший всю его кожу (он был алеут, алеуты же очень неопрятны).

И охотник забормотал молитву.

– Не трогай его, Паталамон. Белых котиков не бывало с тех пор… с тех пор, как я родился. Может быть, это дух старика Захарова. В прошлом году он исчез во время большой бури.

– Я не подойду к нему, – сказал Паталамон. – Он принесет мне несчастье. А ты действительно думаешь, что это Захаров? Я остался ему должен за несколько яиц чайки.

– Не смотри на него, – сказал Керик. – Поверни-ка вот

это стадо четырехлеток. Сегодня работники обязаны содрать шкуры с двух сотен. Охотничье время только что начинается, и они еще не привыкли к работе. Достаточно сотни. Скорее!

Паталамон затрещал перед стаей холостяков высушенными котиковыми плечевыми костями, и звери остановились, фыркая и отдуваясь. Потом он подошел к ним, и они двинулись; Керик направил холостяков от берега, и они даже не постарались вернуться к своим. Сотни и сотни тысяч других котиков смотрели, как гонят их товарищей, и продолжали играть. Один Котик задавал вопросы, но никто не мог ничего сказать ему; холостяки знали только, что в течение восьми недель или двух месяцев люди ежегодно угоняли котиков.

– Я пойду за ними, – сказал Котик, и его глаза чуть не выскочили из орбит, когда он пополз по следам стада.

– За нами идет белый котик, – закричал Паталамон. – В первый раз зверь сам собой идет к месту бойни!

– Тшш! Не смотри, не оборачивайся, – ответил Керик, – это призрак Захарова. Я должен поговорить о нем с шаманом.

Место бойни было всего в полумиле от обыкновенной арены игр холостяков, но Керику пришлось потратить на передвижение целый час, так как он знал, что, если котики пойдут слишком скоро, они разгорячатся, и, когда он станет сдирать с них шкуры, они будут сходить клочками. Так они очень медленно миновали перешеек Морского Льва, дом

Вебстера, наконец дошли до Соленого Дома и скрылись из виду котиков, бывших на отмели. Котик шел позади них, задыхался, изумлялся. Ему казалось, что он на краю света, но гул «детских» звучал с силой грохота поезда в туннеле.

Вот Керик сел на мох, вынул тяжелые оловянные часы и позволил котикам отдыхать минут тридцать. Котик слышал, как капли сгустившегося тумана падали с капюшона охотника. Но скоро показалось человек десять-двенадцать, каждый принес окованную железом дубину фута три-четыре длиной. Керик указал на двух или трех котиков из стада, которые были укушены своими товарищами или слишком разгорячены, и пришедшие люди откинули их в сторону своими ногами, обутыми в тяжелые сапоги из моржовой кожи. Тогда Керик сказал: «Начинайте!» – и пришедшие стали колотить котиков…

Через десять минут маленький Котик не мог узнать никого из своих друзей: их шкуры были разрезаны от носа до задних ластов, содраны и грудой брошены на землю.

Этого было довольно! Котик повернулся и поскакал галопом (небольшое пространство котик может пройти очень быстрым галопом); он двигался обратно к морю, и его маленькие молодые усы топорщились от ужаса. На перешейке Морского Льва, где крупные морские львы сидят на кромке прибоя, он закинул ласты на голову, бросился в прохладную воду и стал качаться, с трудом переводя дыхание.

– Что такое? – сердито сказал морской лев; они обыкно-

венно держатся особняком.

– Скучно, очень скучно, – сказал Котик. – Убивают всех холостяков на всех отмелях.

Морской лев посмотрел в сторону суши.

– Пустяки, – сказал он, – твои друзья, по обыкновению, шумят из-за вздора. Ты, вероятно, видел, как старый Керик перебил стадо? Вот уже тридцать лет он угоняет котиков.

– Да ведь это ужасно! – сказал Котик.

Его накрыла волна; он же винтовым ударом своих ластов поднялся стоймя и остановился в трех дюймах от зазубренного утеса.

– Недурно для одногодка, – заметил морской лев, который умел ценить хорошего пловца. – Вероятно, с твоей точки зрения, происходит ужасная вещь, но, раз вы, котики, год из года возвращаетесь в одно и то же место, немудрено, что люди узнали об этом. Если вы не отыщете для себя острова, на котором никогда не бывает людей, вас всегда будут угонять.

– Нет ли такого острова на свете? – спросил Котик.

– Двадцать лет я охочусь на палтуса и не могу сказать, чтобы уже нашел его. Но послушай, по-видимому, ты любишь разговаривать с существами, которые умнее и лучше тебя; что, если бы ты отправился к островку моржей и поговорил с Морским Волшебником? Может быть, он что-нибудь знает? Да не прыгай так. Нужно проплыть шесть миль, и на твоем месте, малыш, я прежде вздремнул бы.

Котик нашел, что это хороший совет, поплыл к своей собственной отмели, выбрался на берег, заснул и проспал полчаса, весь подергиваясь, как это делают все его родичи. Позже он направился к острову моржей, лежащему к северо-востоку от Северо-Восточного мыса. Остров этот состоял из каменных площадок и гнезд чаек. Там стадами отдыхали моржи.

Котик пристал близ старого Морского Волшебника, огромного, некрасивого, пятнистого, морщинистого моржа северного Тихого океана, зверя с толстой шеей и с длинными бивнями, который вежлив, только когда он спит. Морской Волшебник спал в эту минуту, и его задние ласты до половины уходили в волны.

– Просыпайся! – громко тявкнул Котик, потому что чайки подняли сильный шум.

– Аи! Хо! Гм! Что это? – спросил морж, ударил клыками своего соседа и разбудил его; тот, в свою очередь, ударил следующего, и пошло, и пошло, пока все они не проснулись и не принялись осматриваться по сторонам, только Котика никто не замечал.

– Эй! Это я, – сказал Котик, качаясь, как поплавок, в волнах прибоя, похожий на маленький белый комок.

– Хорошо! Ну, пусть меня… обдерут! – сказал морж, и все посмотрели на Котика, как посмотрели бы старые дремлющие джентльмены на зашедшего в их клуб маленького мальчика.

Котику в эту минуту совсем не хотелось слушать о сдирании кож, он достаточно насмотрелся на это, а потому закричал:

– Нет ли в мире такого места, в которое никогда не приходят люди?

– Ищи сам, – ответил Морской Волшебник, закрывая глаза. – Плыви. Мы заняты!

Котик сделал свой дельфиний прыжок в воздухе и закричал еще громче прежнего:

– Поедатель травы, поедатель ракушек!

Он знал, что Морской Волшебник никогда в жизни не поймал ни одной рыбы, а вечно вырывал раковины, морской мох и морские травы, хоть любил казаться ужасным существом. Понятно, маевки, большие поморники, белые чайки и глупыши, всегда желающие найти случай сказать кому-нибудь грубость, повторили его восклицание, и (так передавал мне Лиммершин) минут пять вы не могли бы услышать ружейного выстрела на островке моржей. Все его население кричало и взвизгивало:

– Поедатель травы! Старик!

А старый морж ворочался с боку на бок, похрюкивал и кашлял.

– Ну, ты теперь скажешь? – спросил Котик, совсем задыхаясь.

– Спроси у морской коровы, – ответил морж, – если она еще жива, она в состоянии сказать тебе.

– Она – единственное существо, которое безобразнее Морского Волшебника! – крикнул большой поморник, пролетая под самым носом моржа. – Она еще безобразнее и еще невежливее. Старик!

Котик предоставил чайкам кричать, а сам поплыл к своему берегу. Тут он узнал, что никто не поддерживает его намерение открыть новое, спокойное место. Ему сказали, что люди всегда угоняли десятки молодых холостяков, что это давно вошло в обычай и что, если ему не нравится смотреть на неприятные вещи, он не должен ходить к месту бойни. Ведь никто раньше не видал, как убивают их родичей, и в этом заключалось различие между Котиком и его друзьями. Кроме того, у Котика была белая шерсть.

– Вон что! – сказал Морской Ловец, выслушав рассказ сына о его приключениях. – Вырасти, сделайся таким же крупным котиком, как твой отец, заведи собственную семью, и тогда тебя оставят в покое. Через пять лет ты будешь в состоянии защищаться.

Даже кроткая Матка сказала:

– Тебе не удастся прекратить эту бойню. Иди, играй в море, Котик.

И Котик уплыл и протанцевал «огненный танец», но с большой тяжестью на сердечке.

В эту осень он очень рано покинул берег и совсем один пустился в путь; в его голове засела одна неотвязная мысль. Он отыщет морскую корову, если только в море окажется та-

кое существо, и найдет спокойный остров с хорошим, твердым берегом, где люди не могли бы добраться до котиков. И он стал осматривать весь Тихий океан от севера до юга, проплывая в сутки около трехсот миль. С ним случилось больше приключений, чем можно рассказать; он чуть не попался в зубы пятнистой акуле и молоту-рыбе (род акулы), встретил всех невероятных злодеев, снующих по морям, тяжелую лощеную рыбу, раковину-гребенку с багровыми пятнами, которая прикрепляется к одному месту на сотни лет и гордится этим, но ни разу не видел морской коровы и не нашел островка, о котором так он мечтал.

Если берег оказывался хорошим, твердым, с отлогой покатостью для игр, на горизонте всегда виднелся дым китоловной лодки, и Котик знал, что это обозначало. Иногда он видел на острове следы пребывания котиков, понимал, что они были перебиты, и говорил себе, что туда, где люди побывали раз, они, конечно, вернутся снова.

Однажды Котик беседовал со старым широкохвостым альбатросом и тот сказал ему, что в смысле покоя и тишины в мире нет места лучше и спокойнее острова Кергелена.

Котик поплыл к указанному месту, и буря с градом, молнией и громом вынесла его там на черные злобные утесы, о которые он чуть было не разбился вдребезги. Тем не менее, отплывая, Котик заметил, что даже на этом угрюмом острове когда-то была «детская». То же повторялось на всех островах, на которых он побывал.

Лиммершин дал мне длинный список этих островов; по его словам, Котик потратил пять лет на поиски, ежегодно отдыхая по четыре месяца у себя на родине; в это время холостяки насмехались над ним и над его воображаемыми островами. Он побывал на Галапагосе, в ужасном сухом месте на экваторе, и чуть до смерти не спекся там; плавал к островам Св. Георгия, к Оркнейским, к Изумрудному острову, к малому острову Нахтигаля, к острову Буве, к острову Св. Креста, даже к крошечному кусочку земли южнее мыса Доброй Надежды. Но морское население повсеместно говорило ему одно и то же. В прежние времена котики приходили к этим островам, но люди убивали их. Даже когда Котик отплыл на несколько тысяч миль от Тихого океана и попал в место, называемое Кап-Кориентес, он наткнулся на несколько сотен исхудалых котиков, и они сказали ему, что люди являлись и к ним.

Сердце Котика чуть не разбилось, и, обогнув мыс Горн, он направился к родным отмелям; по пути на север вышел на землю, на остров, покрытый зелеными деревьями, и застал на нем умирающего, старого-престарого котика; Котик поймал для него рыбы, поведал ему о своих горестях и сказал:

– Теперь я возвращаюсь к Северо-Восточному мысу, и, если меня погонят вместе с моими товарищами к месту бойни, мне будет все равно.

Старый котик ответил:

– Попытайся еще. Я последний из последнего выводка

Масафуера, и в те дни, когда люди убивали нас целыми сотнями тысяч, на наших отмелях рассказывали, что со временем с севера явится белый котик и уведет Котиковый Народ в спокойное место. Я стар, и мне не суждено дожить до такого дня, другие же доживут. Сделай еще попытку.

И Котик поднял свои усы (они были прелестны) и произнес:

– Я единственный белый котик, когда-либо рожденный на берегу, и только я один, черный ли, белый ли, решил искать новые острова.

Эта встреча сильно ободрила его. Когда летом Котик вернулся домой, Матка попросила его жениться и завести хозяйство, так как он сделался взрослым крупным котиком с волнистой белой гривой на плечах, таким же тяжелым, большим и свирепым, как Морской Ловец.

– Дай мне еще один год, – сказал он ей, – вспомни, матушка, ведь именно седьмая волна забегает на отмель дальше всех остальных.

Удивительная вещь: одна из юных невест тоже решила не выходить в этом году замуж, и ночью, перед своим последним отправлением на поиски, Котик проплясал с ней «огненный танец» вдоль Луканнонской отмели.

На этот раз он направился к западу, так как напал на след огромного стада палтусов, а ему нужно было съедать по крайней мере сто фунтов рыбы в день, чтобы сохранять полную силу. Котик преследовал палтусов, пока не устал, потом

свернулся и заснул во впадине близ холма на Медном острове. Он отлично знал берег, поэтому, когда около полуночи почувствовал, что его постель из трав слегка колышется, мысленно сказал:

– Гм, сегодня сильный прилив.

Повернувшись под водой, он открыл глаза, потянулся и, заметив какие-то огромные фигуры, которые шарили носами в мелкой воде и щипали тяжелые бахромы водорослей, подскочил по-кошачьи.

– Клянусь волнами Магелланова пролива, – прошептал он себе в усы. – Кто же это?

Странные животные не походили ни на моржей, ни на морских львов, ни на котиков, ни на медведей, ни на китов, ни на рыб, ни на каракатиц, ни на раковины гребенки – словом, ни на одно создание, которое когда-либо видал Котик. Они имели от двадцати до тридцати футов длины, были без задних ластов, с одними лопатообразными хвостами, как бы выдавленными из влажной кожи, а их невероятно нелепые головы поразили бы вас своим видом. Вот они перестали есть, поднялись почти вертикально, закачались, важно кланяясь друг другу и помахивая своими ластами, как толстый человек помахивает своими руками.

– Эхем, – сказал Котик. – Хорошая охота?

Большие животные ответили ему поклонами и помахали своими ластами, потом начали снова есть, и Котик заметил, что у каждого из них верхняя губа была разделена на две ча-

сти, странное существо могло вытягивать обе ее половины врозь, приблизительно на фут; потом оно сближало эти лопасти, и в разрезе между ними оказывался целый пук морской травы. Забрав пищу в рот, чудище принималось торжественно жевать ее.

– Странный способ питания, – сказал Котик.

Они снова поклонились ему, и Котик начал терять терпение.

– Очень хорошо, – продолжал он. – Если у вас в передних ластах имеется лишний сустав, вам незачем все время показывать его. Я вижу – вы кланяетесь очень грациозно, но мне хотелось бы знать, как вас зовут.

Расщепленные губы зашевелились, искривились, водянистые зеленые глаза уставились на Котика, но ответа не последовало.

– Ну, – сказал Котик, – однако вы безобразнее Морского Волшебника и обладаете еще худшими манерами!

В эту минуту в нем вспыхнуло воспоминание о том, что прокричал ему большой поморник, когда он, тогда еще юный одногодка, был подле острова моржей. Вспомнив же об этом, Котик ушел под воду: он понял, что наконец встретил морскую корову.

Морские коровы продолжали барахтаться, пастись в травах и жевать их, а Котик принялся задавать им вопросы на всех наречиях, которым научился во время своих странствий.

У Морского Народа их не меньше, чем у людей; однако ни одна морская корова не ответила; дело в том, что морские коровы не в состоянии говорить, у них в шее всего шесть позвонков вместо семи, и морские жители уверяют, что это мешает им разговаривать даже между собой. Зато, как нам известно, в передних ластах у них есть по лишнему суставу и, размахивая ими то вверх, то вниз, то в стороны, они делают знаки, которые служат им чем-то вроде неуклюжего телеграфного кода.

К рассвету грива Котика ощетинилась, а его терпение отправилось туда, куда уходят мертвые крабы. В это время морские коровы медленно двинулись к северу; время от времени они останавливались для нелепых совещаний, с вечными поклонами; Котик плыл вслед за ними, говоря себе: «Такие глупые существа давным-давно были бы перебиты, если бы они не нашли какого-нибудь безопасного острова, а то, что достаточно хорошо для морской коровы, хорошо и для котика. Но все-таки я хотел бы, чтобы они поторопились».

Скучное это было время для Котика. Стадо никогда не делало больше сорока или пятидесяти миль в день; на ночь морские коровы останавливались для еды, во время пути держались близ берега; Котик плавал вокруг них, проносился над ними, нырял под ними, однако не мог ускорить их хода хотя бы немного. Когда коровы сильно продвинулись к северу, они принялись устраивать совещания через каждые несколько часов, при этом по-прежнему раскланиваясь,

и Котик чуть не обкусал все свои усы от досады; наконец он заметил, что морские коровы двигаются по теплому течению, и с этих пор начал уважать их.

Раз ночью они погрузились в светлую воду – утонули, как камни, – и в первый раз с тех пор, как Котик узнал их, поплыли быстро. Он пустился вслед за ними, и их скорость изумила его: он никак не думал, чтобы эти неуклюжие животные могли двигаться с такой ловкостью. Вот они направились к прибрежному утесу, который уходил в глубокую воду, и вошли в темное отверстие близ его подножия на двадцать саженей ниже поверхности моря. Долго-долго плыли они по этому темному коридору, и Котику захотелось вдохнуть свежий воздух раньше, чем он вышел из туннеля, через который его вели странные существа.

– Гривка моя! – произнес Котик, когда он, хватая ртом воздух и отдуваясь, очутился по ту сторону подземного хода. – Долго пришлось мне пробыть под водой, но стоило!

Морские коровы рассеялись и лениво пощипывали травы по краям самого прекрасного берега, который когда-либо видел Котик. На целые мили тянулись мягко обточенные водой камни, годные для котиковых «детских»; дальше поднимался отлогий песчаный берег, удобный для игр молодежи; были здесь и прибрежные камни, где холостяки могли танцевать, трава, в которой они могли валяться, и песчаные дюны для лазания по ним вверх и вниз. Но самое лучшее – по запаху воды, который не обманывает котика, Котик понял,

что в этом месте никогда не бывали люди.

Прежде всего он удостоверился, что рыбы много; потом проплыл вдоль берега и сосчитал восхитительные низкие песчаные острова, полуприкрытые прекрасным клубящимся туманом. К северу в море выходил ряд мелей, перекатов и скал, которые не подпустили бы ни одно судно к берегу ближе, чем на шесть миль; между островами и материком тянулась полоса глубокой воды, подходившей к отвесным утесам, и где-то там, под этими скалами, скрывалось отверстие туннеля.

– Это тот же Северо-Восточный мыс, только в десять раз лучший, – сказал Котик. – Морские коровы, должно быть, умнее, чем я предполагал. Даже в том случае, если поблизости живут люди, они не сумеют спуститься с обрывистых утесов; со стороны же открытого моря мели разобьют в щепки любое судно. Если только где-нибудь есть безопасное место – оно именно здесь.

Котик вспомнил об ожидавшей его юной невесте, однако, как ни хотелось ему поскорее вернуться к родным берегам, он внимательно исследовал новую страну, чтобы ответить на все вопросы своего племени.

Потом Котик нырнул, твердо запомнил, где находится вход в туннель, и пронесся через него к югу. Никто, кроме морской коровы или котика, не мог бы представить себе существование такого коридора, и даже Котик, оглянувшись на утесы, с трудом поверил, что он прошел под ними.

Он плыл быстро, тем не менее на возвращение домой затратил шесть дней; когда же выполз на землю повыше перешейка Морского Льва, прежде всего увидел ожидавшую его невесту. По взгляду его глаз она поняла, что он наконец отыскал желанный остров.

Однако холостяки, Морской Ловец и все другие котики стали над ним насмехаться, когда он рассказал им о месте, которое нашел; один из его ровесников заметил:

– Все это прекрасно, Котик, но, явившись неизвестно откуда, ты не можешь приказать нам уйти отсюда. Вспомни, мы боролись из-за наших лежек, а ты нет. Ты предпочел шататься по морям.

Остальные засмеялись; молодой же ровесник Котика принялся ворочать головой из стороны в сторону. Он только что женился в этом году и очень важничал.

– Мне нечего бороться из-за лежки, – ответил Котик. – Я хочу только показать вам всем совершенно безопасное место. Зачем драться?

– О, если ты отказываешься, мне, конечно, не о чем больше говорить, – недобро посмеиваясь, сказал молодой котик.

– А ты пойдешь со мной, если я останусь победителем? – спросил Котик, и в его глазах загорелся зеленый огонь; ему совсем не хотелось драться, но вызов рассердил его.

– Отлично, – беспечно ответил молодой котик. – Если ты победишь, я пойду за тобой.

Он не успел переменить намерения, голова Котика вытя-

нулась, и его зубы впились в шею насмешника. Потом Котик присел на задние лапы, потащил своего противника по берегу, потряс его, перевернул на спину и прогремел, обращаясь к остальным:

– Эти пять лет я старался ради вас, нашел для вас остров, где вы будете жить в безопасности, но, если не сорвешь голов с ваших глупых шей, вы не поверите. Теперь я поучу вас. Берегитесь!

Лиммершин сказал мне, что никогда в жизни (а Лиммершин ежегодно видит бои десяти тысяч крупных котиков), что никогда в жизни он не наблюдал ни за чем подобным нападению Котика, который кинулся на самого крупного из котиков, схватил его за горло, тряс, колотил, бросал, пока тот не стал похрюкивать, прося пощады; он отшвырнул его и бросился на следующего. Видите ли, Котик никогда не голодал в течение четырех месяцев, как это делают остальные его родичи, а плавание по глубокому морю развило его силы; главное же, до сих пор он никогда не дрался. Его белая грива вздыбилась от гнева, его глаза так и горели, а острые зубы поблескивали. Он был прекрасен.

Старый Морской Ловец видел, как он мелькал мимо него, таская за собой седеющих крупных котиков, точно это были палтусы, и во все стороны разбрасывал холостяков. Морской Ловец заревел и воскликнул:

– Может быть, Котик безумец, но на берегу нет бойца лучше его! Не нападай на меня, сынок; твой отец с тобой заодно!

Пронесся ответный рев Котика, и Морской Ловец запрыгал, подняв усы и отдуваясь, как паровоз; Матка же и невеста Котика свернулись, с восхищением наблюдая за своими бойцами. Происходила блестящая битва, Ловец и Котик боролись, пока оставался хоть один котик, решавшийся поднимать голову. Когда все было закончено, они с громким ревом стали двигаться взад и вперед по берегу.

Ночью, как раз в то время, когда северное сияние, вспыхивая, замигало среди тумана, Котик поднялся на обнаженный утес и посмотрел на разгромленные «детские» и на окровавленных, израненных котиков.

– Теперь, – сказал он, – я дал вам всем урок.

– О, моя грива! – заметил его отец, с трудом выпрямляясь, потому что он был страшно искусан. Сам дельфин-касатка не мог бы хуже искромсать его. – Я горжусь тобой, сынок: больше того, я отправляюсь с тобой к твоему острову, если такое место существует.

– Эй вы, толстые морские свиньи, кто идет со мной к туннелю морской коровы? Отвечайте, не то я опять примусь учить вас! – прогремел Котик.

Вдоль берега пробежал ропот, напоминающий плеск прилива.

– Мы идем, – сказали тысячи усталых голосов. – Мы пойдем вслед за Котиком, вслед за Белым Котиком!

А Котик втянул голову в плечи и с гордостью закрыл глаза. Он уже не был белым; с головы до хвоста он окрасился в

красный цвет. Тем не менее ему не хотелось ни визжать, ни взглянуть на свои раны, ни зализывать их.

Через неделю Котик и его армия (около десяти тысяч холостяков и старых секачей) двинулись на север к туннелю морской коровы. Их вел Котик. Оставшиеся же на старом месте называли уплывших идиотами. Но на следующую весну, когда котики снова встретились на рыболовных отмелях Тихого океана, товарищи Котика порассказали упрямым таких чудес о новых берегах за туннелем морской коровы, что большое число котиков покинуло берег Северо-Восточного мыса.

Понятно, переселение совершалось постепенно: котику нужно долго обдумывать что бы то ни было, но год от года все большие и большие стада покидали Северо-Восточный мыс, Луканнон и другие жилища ради спокойных, защищенных берегов, где Котик проводит каждое лето, становясь год от года крупнее, жирнее и сильнее, а холостяки играют вокруг него в море, недоступном для человека.

Рикки-Тикки-Тави

Это рассказ о великой войне, которую Рикки-Тикки-Тави вел в одиночку в ванной комнате просторного бунгало в Сеговлийском военном поселении. Дарси, птица-портной, помогал ему; Чучундра, мускусная крыса, которая никогда не выходит на середину комнаты и всегда крадется по стенам, дала ему совет; тем не менее по-настоящему сражался один Рикки-Тикки.

Он был мангуст, мехом и хвостом он походил на кошечку, но его голова и нрав напоминали ласку. Его глаза и кончик беспокойного носа были розовые; любой лапкой, передней или задней, он мог почесывать себя везде, где угодно; мог распушить свой хвост, делая его похожим на щетку для ламповых стекол, а когда он несся через высокую траву, его боевой клич был: рикк-тикк-тикки-тикки-тчк.

Однажды в середине лета ливень вымыл его из норы, в которой он жил со своими отцом и матерью, и унес барахтающегося и цокающего зверька в придорожную канаву. Рикки-Тикки увидел там плывущий комок травы, изо всех сил ухватился за него и наконец потерял сознание. Когда зверек очнулся, он, сильно промокший, лежал на середине садовой дорожки под знойными лучами солнца; над ним стоял маленький мальчик и говорил:

– Вот мертвый мангуст. Устроим ему похороны.

– Нет, – ответила мать мальчика. – Унесем зверька к нам домой и обсушим его. Может быть, он еще жив.

Они внесли его в дом; очень высокий человек взял Рикки-Тикки двумя пальцами и сказал, что зверек не умер, а только почти задохнулся; Рикки-Тикки завернули в вату и согрели, он открыл глаза и чихнул.

– Теперь, – сказал высокий человек (это был англичанин, который только что поселился в бунгало), – не пугайте его, и посмотрим, что он станет делать.

Труднее всего в мире испугать мангуста, потому что этого зверька, от его носика до хвоста, поедает любопытство. Девиз каждой семьи мангустов «Беги и узнай», а Рикки-Тикки был истинным мангустом. Он посмотрел на вату, решил, что она не годится для еды, обежал вокруг стола, сел и привел в порядок свою шерстку, почесался и вскочил на плечо мальчика.

– Не бойся, Тедди, – сказал мальчику отец. – Так он знакомится с тобой.

– Ох, щекотно, он забрался под подбородок.

Рикки-Тикки заглянул в пространство между воротником Тедди и его шеей, понюхал его ухо, наконец сполз на пол, сел и почесал себе нос.

– Боже милостивый, – сказала мать Тедди, – и это дикое создание! Я думаю, он такой ручной, потому что мы были добры к нему.

– Все мангусты такие, – ответил ей муж. – Если Тедди не

станет дергать его за хвост, не посадит в клетку, он будет целый день то выбегать из дому, то возвращаться. Покормим его чем-нибудь.

Зверьку дали кусочек сырого мяса. Оно понравилось Рикки-Тикки; поев, мангуст выбежал на веранду, сел на солнце и поднял свою шерсть, чтобы высушить ее до самых корней. И почувствовал себя лучше.

– В этом доме я скоро узнаю гораздо больше, – сказал он себе, – чем все мои родные могли бы узнать за целую жизнь. Конечно, я останусь здесь и все рассмотрю.

Он целый день бегал по дому, чуть не утонул в ванне, засунул носик в чернильницу на письменном столе, обжег его о конец сигары англичанина, когда взобрался на его колени, чтобы посмотреть, как люди пишут. Когда наступил вечер, мангуст забежал в детскую Тедди, чтобы видеть, как зажигают керосиновые лампы; когда же Тедди лег в постель, Рикки-Тикки влез за ним и оказался беспокойным товарищем: он ежеминутно вскакивал, прислушивался к каждому шороху и отправлялся узнать, в чем дело. Отец и мать Тедди пришли в детскую посмотреть на своего мальчика; Рикки-Тикки не спал, он сидел на подушке.

– Это мне не нравится, – сказала мать мальчика, – он может укусить Тедди.

– Мангуст не сделает ничего подобного, – возразил ее муж. – Близ этого маленького зверька Тедди в большей безопасности, чем был бы под охраной негрской собаки. Если

бы в детскую теперь заползла змея…

Но мать Тедди не хотела и думать о таких ужасных вещах.

Рано утром Рикки-Тикки явился на веранду к первому завтраку, сидя на плече Тедди. Ему дали банан и кусочек вареного яйца. Он посидел поочередно на коленях у каждого, потому что всякий хорошо воспитанный мангуст надеется со временем сделаться домашним животным и бегать по всем комнатам, а мать Рикки-Тикки (она жила в доме генерала в Сеговли) старательно объяснила ему, как он должен поступать при встрече с белыми.

После завтрака Рикки-Тикки вышел в сад, чтобы хорошенько осмотреть его. Это был большой, только наполовину возделанный сад с кустами роз «Марешаль Ниель» такой высоты, какой они достигают только в оранжереях, с лимонными и апельсинными деревьями, с зарослями бамбука и чащами густой, высокой травы. Рикки-Тикки облизнул губы.

– Какой превосходный участок для охоты, – сказал он; от удовольствия его хвост распушился, как щетка для ламповых стекол, и он стал шнырять взад и вперед по саду, нюхая там и сям, и наконец среди ветвей терновника услышал очень печальные голоса. Там сидели Дарси, птица-портной, и его жена. Соединив два листа и сшив их краешки листовыми фибрами, они наполнили пустое пространство между ними ватой и пухом, таким образом устроив прекрасное гнездо. Гнездо покачивалось, птицы сидели на его краю и плакали.

– В чем дело? – спросил Рикки-Тикки.

– Мы очень несчастны, – сказал Дарси. – Один из наших птенцов вчера выпал из гнезда, и Наг съел его.

– Гм, – сказал Рикки-Тикки, – это очень печально, но я здесь недавно. Кто это Наг?

Дарси и его жена вместо ответа притаились в своем гнезде, потому что из-под куста донеслось тихое шипение – ужасный холодный звук, который заставил Рикки-Тикки отскочить на два фута назад. И вот из травы, дюйм за дюймом, показалась голова, а потом и раздутая шея Нага, большой черной кобры, имевшей пять футов длины от языка до хвоста. Когда Наг поднял треть своего тела, он остановился, покачиваясь взад и вперед, точно колеблемый ветром куст одуванчиков, и посмотрел на Рикки-Тикки злыми змеиными глазами, никогда не изменяющими выражения, о чем бы ни думала змея.

– Кто Наг? – сказал он. – Я – Наг! Великий бог Брама наложил на весь наш род свой знак, когда первая кобра раздула свою шею, чтобы охранять сон божества. Смотри и бойся!

Наг еще больше раздул свою шею, и Рикки-Тикки увидел на ней знак, который так походил на очки и их оправу. На минуту он испугался; но мангуст не может бояться долго; кроме того, хотя Рикки-Тикки никогда не видел живой кобры, его мать приносила ему для еды кобр мертвых, и он отлично знал, что жизненная задача взрослого мангуста – сражаться со змеями и поедать их. Наг тоже знал это, и в глубине его холодного сердца шевелился страх.

– Хорошо, – сказал Рикки-Тикки, и шерсть его хвоста начала подниматься, – все равно, есть на тебе знаки или нет, ты не имеешь права есть птенчиков, выпавших из гнезда.

Наг думал, в то же время он наблюдал за легким движением в траве позади Рикки-Тикки. Он знал, что, раз в саду поселятся мангусты, это рано или поздно повлечет за собой его смерть и гибель его семьи, и ему хотелось заставить Рикки-Тикки успокоиться. Поэтому он немного опустил голову и наклонил ее на одну сторону.

– Поговорим, – сказал Наг, – ты же ешь яйца. Почему бы мне не есть птиц?

– Позади тебя! Оглянись! – пропел Дарси.

Рикки-Тикки не хотел тратить времени, смотря по сторонам. Он подскочил как можно выше, и как раз под ним со свистом промелькнула голова Нагены, злой жены Нага. Пока он разговаривал с Нагом, вторая кобра подкрадывалась к нему сзади, чтобы покончить с ним; теперь, когда ее удар пропал даром, Рикки-Тикки услышал злобное шипение. Он опустился на лапки почти поперек спины Нагены, и, будь Рикки-Тикки старым мангустом, он понял бы, что ему следует, куснув ее один раз, сломать ей спину; но он боялся страшного поворота головы кобры. Конечно, Рикки кусал змею, но недостаточно сильно, недостаточно долго и отскочил от ее хлеставшего хвоста, бросив раненую и рассерженную Нагену.

– Злой, злой Дарси, – сказал Наг, поднимаясь насколько

мог по направлению к гнезду на кусте терновника; но Дарси так устроил свое жилище, что оно было недоступно для змей и только слегка покачивалось.

Глаза Рикки-Тикки покраснели, и к ним прилила кровь (когда глаза мангуста краснеют, это значит, что он сердится); зверек сел на свой хвост и задние лапки, как маленький кенгуру, огляделся кругом и зацокал от бешенства. Наг и Нагена исчезли в траве. Если змее не удается нападение, она ничего не говорит и ничем не показывает, что собирается сделать дальше. Рикки-Тикки не стал отыскивать кобр; он не был уверен, удастся ли ему справиться сразу с двумя змеями. Поэтому мангуст пробежал на усыпанную дорожку подле дома, сел и стал думать. Ему предстояло важное дело.

В старинных книгах по естественной истории вы прочитаете, что укушенный змеей мангуст прекращает борьбу, отбегает подальше и съедает какую-то травку, которая исцеляет его. Это неправда. Мангуст одерживает победу только благодаря быстроте своего взгляда и ног; удары змеи состязаются с прыжками мангуста, а так как никакое зрение не в силах уследить за движением головы нападающей змеи, победу зверька можно считать удивительнее всяких волшебных трав. Рикки-Тикки знал, что он молодой мангуст, а потому тем сильнее радовался при мысли о своем спасении от удара, направленного сзади. Все случившееся внушило ему самоуверенность, и, когда на дорожке показался бегущий Тедди, Рикки-Тикки был не прочь, чтобы он его приласкал.

Как раз в ту секунду, когда Тедди наклонился к нему, что-то слегка зашевелилось в пыли и тонкий голос сказал:

– Осторожнее. Я смерть!

Это была карэт, коричневатая змейка, которая любит лежать в пыли. Ее укус так же опасен, как укус кобры. Но коричневая змейка так мала, что никто о ней не думает, и потому она приносит людям особенно много вреда.

Глаза Рикки-Тикки снова покраснели, и он подскочил к карэт тем особенным покачивающимся движением, которое унаследовал от своих родичей. Это смешная походка, но благодаря ей зверек остается в таком совершенном равновесии, что может кинуться на врага под каким ему угодно углом, а когда дело идет о змеях – это великое преимущество.

Рикки-Тикки не знал, что он решился на более опасную вещь, чем бой с Нагом! Ведь карэт так мала и может поворачиваться так быстро, что, если бы Рикки-Тикки не схватил ее подле затылка, она опрокинулась бы и укусила его в глаз или губу. Но Рикки этого не знал; его глаза горели, и он прыгал взад и вперед, отыскивая, где бы лучше захватить карэт. Карэт кинулась. Рикки прыгнул в сторону на всех четырех лапках и попытался кинуться на нее, но маленькая злобная пыльно-серая голова промелькнула близ самого его плеча, ему пришлось перескочить через тело змеи, ее голова направилась за ним и почти коснулась его.

Тедди повернулся к дому и закричал:

– О, смотрите! Наш мангуст убивает змею!

Почти тотчас же Рикки услышал испуганное восклицание матери Тедди; отец мальчика выбежал в сад с палкой, но к тому времени, когда он подошел к месту боя, карэт слишком вытянулась, Рикки-Тикки сделал прыжок, вскочил на спину змеи и, прижав ее голову своими передними лапами, укусил в спину как можно ближе к голове, потом отскочил в сторону. Его укус парализовал карэт. Рикки-Тикки уже собирался приняться есть змею, по обычаю своего семейства, начиная с хвоста, как вдруг вспомнил, что сытый мангуст неповоротлив и что, если он желает быть сильным, ловким и проворным, ему необходимо остаться голодным.

Он отошел, чтобы выкупаться в пыли под кустами клещевины. В это время отец Тедди колотил палкой мертвую карэт.

«Зачем? – подумал Рикки-Тикки. – Я же покончил с ней!»

Мать Тедди подняла мангуста из пыли и приласкала его, говоря, что он спас от смерти ее сына; отец Тедди заметил, что мангуст – их счастье, а сам Тедди смотрел на всех широко открытыми испуганными глазами. Эта суета забавляла Рикки-Тикки, который, понятно, не понимал ее причины. Мать Тедди могла бы с таким же успехом ласкать Рикки за то, что он играл в пыли. Но Рикки-Тикки было весело.

В этот вечер за обедом мангуст расхаживал взад и вперед по столу и мог бы три раза всласть наесться всяких вкусных вещей, но он помнил о Наге и Нагене, и, хотя ему было очень приятно, когда мать Тедди гладила и ласкала его, хотя ему

нравилось сидеть на плече самого Тедди, время от времени его глазки вспыхивали красным огнем и раздавался его продолжительный боевой крик: рикк-тикк-тикки-тикки-тчк!

Тедди отнес его к себе в постель и хотел непременно уложить его под своим подбородком. Рикки-Тикки был слишком хорошо воспитан, чтобы укусить или оцарапать мальчика, но, едва Тедди заснул, мангуст соскочил на пол, отправился осматривать дом и в темноте натолкнулся на Чучундру, мускусную крысу, которая кралась по стене. Чучундра – маленький зверек с разбитым сердцем. Целую ночь она хнычет и пищит, стараясь заставить себя выбежать на середину комнаты, но никогда не решается на это.

– Не убивай меня, – чуть не плача, попросила Чучундра. – Не убивай меня, Рикки-Тикки!

– Разве ты думаешь, что победитель змей убивает мускусных крыс? – презрительно сказал Рикки-Тикки.

– Тот, кто убивает змей, бывает убит змеями, – еще печальнее произнесла Чучундра. – И разве я могу быть уверена, что когда-нибудь в темную ночь Наг не примет меня за тебя?

– Этого нечего бояться, – сказал Рикки-Тикки, – кроме того, Наг в саду, а ты, я знаю, не выходишь туда.

– Моя родственница Чуа, крыса, сказала мне… – начала Чучундра и замолчала.

– Что сказала?

– Тсс! Наг повсюду, Рикки-Тикки. Тебе следовало бы по-

говорить в саду с крысой Чуа.

– Я не говорил с ней, значит, ты должна сказать мне все. Скорее, Чучундра, не то я тебя укушу!

Чучундра села и заплакала, слезы покатились по ее усам.

– Я несчастна, – прорыдала она. – У меня нет мужества выбежать на середину комнаты. Тсс! Я не должна ничего тебе говорить. Разве ты сам не слышишь, Рикки-Тикки?

Рикки-Тикки прислушался. В доме было тихо-тихо, однако ему казалось, что он может уловить невероятно слабый «скрип-скрип» – звук не сильнее скрипа лап осы, бродящей по оконному стеклу, – сухой скрип змеиной чешуи по кирпичам.

«Это Наг или Нагена, – мысленно сказал себе Рикки-Тикки, – и змея ползет в сточный желоб ванной комнаты. Ты права, Чучундра, мне следовало поговорить с крысой Чуа».

Он тихо вошел в ванную комнату Тедди, там не было ничего, потом заглянул в ванную комнату матери мальчика. Здесь в гладкой оштукатуренной стене, внизу, был вынут кирпич для стока воды, и, когда Рикки-Тикки крался мимо ванны, вмазанной в пол, он услышал, что за стеной, снаружи, Наг и Нагена шепчутся при свете месяца.

– Когда дом опустеет, – сказала мужу Нагена, – ему придется уйти, и тогда мы снова всецело завладеем садом. Тихонько вползи и помни: прежде всего нужно укусить большого человека, который убил карэт. Потом вернись, расска-

жи мне все, и мы вместе поохотимся на Рикки-Тикки.

– А уверена ли ты, что мы достигнем чего-нибудь, убив людей? – спросил Наг.

– Всего достигнем. Разве в саду были мангусты, когда никто не жил в бунгало? Пока дом пуст, мы в саду король и королева; и помни, едва на грядке с дынями лопнут яйца (а это может случиться завтра), нашим детям понадобится спокойствие и простор.

– Я не подумал об этом, – сказал Наг. – Я вползу, но нам незачем преследовать Рикки-Тикки. Я убью большого человека, его жену и ребенка, если это будет возможно, и вернусь. Бунгало опустеет, и Рикки-Тикки уйдет сам.

Рикки-Тикки весь дрожал от ярости и ненависти, но вот из желоба показалась голова Нага, а потом и пять футов его холодного тела. Как ни был рассержен Рикки-Тикки, но, увидав размер громадной кобры, он почувствовал страх. Наг свернулся, поднял свою голову и посмотрел в темную ванную комнату; Рикки заметил, что его глаза блестят.

«Если я убью его здесь, это узнает Нагена, кроме того, если я буду биться с ним посреди пола, вся выгода окажется на его стороне. Что мне делать?» – подумал Рикки-Тикки-Тави.

Наг извивался в разные стороны, и скоро мангуст услышал, что он пьет из самого большого водяного кувшина, которым обыкновенно наполняли ванну.

– Вот что, – сказал Наг, – большой человек убил карэт палкой. Может быть, эта палка все еще у него, но утром он

придет купаться без нее. Я дождусь его здесь. Нагена, ты слышишь? Я до утра буду ждать здесь, в холодке.

Снаружи не послышалось ответа, и Рикки-Тикки понял, что Нагена уползла. Наг принялся укладываться в большой кувшин, обвивая кольцами своего тела выпуклость на его дне, а Рикки-Тикки сидел тихо, как смерть. Прошел час, мангуст медленно, напрягая одну мышцу за другой, двинулся к кувшину. Наг спал, и, глядя на его широкую спину, Рикки спрашивал себя, в каком месте лучше всего схватить кобру зубами. «Если при первом же прыжке я не переломлю ему хребта, – подумал Рикки, – он будет биться, а борьба с Нагом… О Рикки!»

Он измерил взглядом толщину змеиной шеи, но она была слишком широка для него; укусив же кобру подле хвоста, он только привел бы ее в бешенство.

«Лучше всего вцепиться в голову, – мысленно сказал он себе наконец, – в голову повыше капюшона; впустив же в Нага зубы, я не должен разжимать их».

Он прыгнул. Голова змеи слегка выдавалась из водяного кувшина и лежала ниже его горлышка. Как только зубы Рикки сомкнулись, мангуст уперся спиной о выпуклость красного глиняного кувшина, чтобы удержать голову змеи. Это дало ему секунду выгоды, и он хорошо воспользовался ею. Но Наг тотчас же принялся трясти его, как собака трясет крысу; таскал его взад и вперед по полу, вскидывал, опускал, размахивал им, но глаза мангуста горели красным огнем, и он

не разжимал своих зубов. Змея волочила его по полу; жестяной ковшик, мыльница, тельная щетка – все разлетелось в разные стороны. Рикки ударился о цинковую стенку ванны и сильнее сжал свои челюсти. Рикки ради чести своей семьи желал, чтобы его нашли с сомкнутыми зубами. Голова у него кружилась. Вдруг раздалось что-то вроде громового удара; ему представилось, будто он разлетается на куски; горячий воздух обдал его, и он лишился чувств; красный огонь опалил его шерстку. Шум разбудил большого человека, и он выстрелил из обоих стволов своего ружья в голову Нага, выше расширения шеи кобры.

Рикки-Тикки не открывал глаз; он был вполне уверен, что его убили; но змеиная голова не двигалась, и, подняв зверька, англичанин сказал:

– Это опять мангуст, Элис; малыш спас теперь наши жизни.

Пришла мать Тедди, совсем бледная, посмотрела и увидела то, что осталось от Нага. Между тем Рикки-Тикки проковылял в спальню Тедди и половину оставшейся ночи тихонько обследовал себя, чтобы узнать, действительно ли, как ему казалось, его кости переломаны в сорока местах.

Утром он почувствовал утомление во всем теле, но был очень доволен тем, что ему удалось совершить.

«Теперь мне следует разделаться с Нагеной, хотя она будет опаснее пяти Нагов; кроме того, никто не знает, когда лопнут яйца, о которых она упоминала. Да, да, я должен поговорить

с Дарси», – сказал себе мангуст.

Не дожидаясь завтрака, Рикки-Тикки побежал к терновому кусту, где Дарси во весь голос распевал торжествующую песню. Известие о смерти Нага разошлось по саду, потому что уборщик бросил его тело на кучу мусора.

– Ах ты, глупый пучок перьев! – сердито сказал Рикки-Тикки. – Время ли теперь петь?

– Наг умер, умер, умер! – пел Дарси. – Храбрый Рикки-Тикки схватил его за голову и крепко сжал ее. Большой человек принес гремучую палку, и Наг распался на две части. Никогда больше не будет он поедать моих птенцов.

– Все это верно, но где Нагена? – внимательно осматриваясь, спросил Рикки-Тикки.

– Нагена приблизилась к отводному желобу ванной комнаты и позвала Нага, – продолжал Дарси. – И Наг показался на конце палки; уборщик проколол его концом палки и бросил на мусорную кучу. Воспоем же великого красноглазого Рикки-Тикки!

Горлышко Дарси надулось, и он продолжал петь.

– Если бы только я мог добраться до твоего гнезда, я вышвырнул бы оттуда всех твоих детей, – сказал Рикки-Тикки. – Ты не умеешь ничего делать в свое время. В твоем гнезде тебе не грозит опасность, но здесь, внизу, у меня идет война. Погоди петь минуту, Дарси.

– Ради великого, ради прекрасного Рикки-Тикки я замолчу, – сказал Дарси. – Что тебе угодно, о победитель страш-

ного Нага?

– Где Нагена, в третий раз спрашиваю тебя?

– На мусорной груде, подле конюшни; она оплакивает Нага! Великий Рикки-Тикки с белыми зубами!

– Брось ты мои белые зубы. Слышал ли ты, где ее яйца?

– На ближайшем к ограде конце дынной гряды; там, куда почти целый день светит солнце. Несколько недель тому назад она зарыла их в этом месте.

– А ты не подумал сказать мне о них? Так, значит, подле стены?

– Но ты же не съешь ее яйца, Рикки-Тикки?

– Не могу сказать, чтобы я собирался именно съесть их, нет. Дарси, если у тебя есть хоть капля ума в голове, лети к конюшне, притворись, будто у тебя сломано крыло, и пусть Нагена гонится за тобой вплоть до этого куста. Я должен пройти к дынной гряде, но, если я побегу туда теперь, она заметит меня.

Дарси был маленьким созданием с птичьим мозгом, в котором никогда не помещается больше одной мысли сразу; только потому, что дети Нагены рождались в яйцах, как его собственные, ему показалось, что убивать их нечестно. Зато его жена была благоразумной птичкой и знала, что яйца кобры предвещают появление молодых кобр. Итак, она вылетела из гнезда, предоставив Дарси согревать птенцов и продолжать воспевать смерть Нага. В некоторых отношениях Дарси очень напоминал человека.

Птичка стала перепархивать перед Нагеной подле кучи мусора, крича:

– Ах, мое крыло сломано! Мальчик из дома бросил в меня камнем и перебил его. – И она запорхала еще отчаяннее прежнего.

Нагена подняла голову и прошипела:

– Ты предупредила Рикки-Тикки, когда я могла убить его. Поистине ты выбрала дурное место ковылять. – И, скользя по слою пыли, кобра двинулась к жене Дарси.

– Мальчик камнем перебил мое крыло! – выкрикнула птица Дарси.

– Ну, может быть, для тебя послужит утешением, если я скажу, что, когда ты умрешь, я сведу счеты с этим мальчиком. Теперь утро, и мой муж лежит на груде мусора, а раньше, чем наступит ночь, мальчик будет неподвижно лежать в доме. Зачем ты убегаешь? Я все равно тебя поймаю. Дурочка, посмотри-ка на меня.

Но жена Дарси отлично знала, что этого делать не нужно, потому что, взглянув в глаза змеи, птица так пугается, что теряет способность двигаться. С грустным писком жена Дарси продолжала трепетать крыльями и убегать, не поднимаясь от земли. Нагена поползла быстрее.

Рикки-Тикки услышал, что они двигаются по дорожке от конюшни, и помчался к ближайшему от ограды концу дынной гряды. Там, на горячем удобрении и очень хитро скрытые между дынями, лежали змеиные яйца, всего двадцать

пять штук, размером вроде яиц бентамов (порода кур), но с беловатой кожистой оболочкой, а не в скорлупе.

«Я не пришел раньше времени», – подумал Рикки.

Сквозь кожистую оболочку он разглядел внутри яиц свернувшихся детенышей кобры, а ему было известно, что каждый едва вылупившийся змееныш может убить человека или мангуста. Он как можно быстрее надкусил верхушки яиц, не забыв старательно раздавить маленьких кобр. Время от времени мангуст смотрел, не пропустил ли он хоть одного яйца. Вот осталось только три, и Рикки-Тикки стал уже посмеиваться про себя, как вдруг до него долетел крик жены Дарси:

– Рикки-Тикки, я увела Нагену к дому, она вползла на веранду… О, скорее, она хочет убивать!

Рикки-Тикки раздавил два яйца, скатился с гряды и, захватив третье в рот, побежал к веранде, очень быстро перебирая ногами. Там за ранним завтраком сидели Тедди, его отец и мать, но Рикки-Тикки сразу увидел, что они ничего не едят. Они не двигались, как каменные, и их лица побелели. На циновке, подле стула Тедди, лежала свернувшаяся Нагена, и ее голова была на таком расстоянии, что она ежеминутно могла укусить голую ножку мальчика. Кобра покачивалась взад и вперед и пела торжествующую песню.

– Сын большого человека, убившего Нага, – шипела она, – не двигайся! Я еще не готова. Погоди немножко. Не двигайтесь все вы трое. Если вы пошевелитесь, я укушу; если вы не пошевелитесь, я тоже укушу. О, глупые люди, которые уби-

ли моего Нага!

Тедди не спускал глаз с отца, а его отец мог только шептать:

– Сиди неподвижно, Тедди. Ты не должен шевелиться. Тедди, не шевелись!

Рикки-Тикки поднялся на веранду:

– Повернись, Нагена, повернись и начни бой.

– Все в свое время, – ответила кобра, не спуская глаз с Тедди. – Я скоро сведу мои счеты с тобой. Смотри на своих друзей, Рикки-Тикки. Они не двигаются, они совсем белые, они боятся. Пошевелиться люди не смеют, и, если ты сделаешь еще один шаг, я укушу.

– Посмотри на твои яйца, – сказал Рикки-Тикки, – там на дынной гряде, подле ограды! Проползи туда и взгляни на них, Нагена.

Большая змея сделала пол-оборота и увидела свое яйцо на веранде.

– Аа-х! Отдай мне его! – сказала она.

Рикки-Тикки положил яйцо между передними лапами; его глаза были красны, как кровь.

– Сколько дают за змеиное яйцо? За молодую кобру? За молодую королевскую кобру? За последнюю, за самую последнюю из всего выводка? Там, на дынной гряде, муравьи поедают остальных.

Нагена повернулась совсем, она все забыла ради своего единственного яйца, и Рикки-Тикки увидел, что отец Тедди

протянул свою большую руку, схватил Тедди за плечо, протащил его через маленький стол с чайными чашками, так что мальчик очутился в безопасности и вне досягаемости Нагены.

– Обманута, обманута, обманута, рикки-тчк-тчк! – засмеялся Рикки-Тикки. – Мальчик спасен, и это я, я, я ночью поймал Нага в ванной комнате. – И мангуст принялся прыгать на всех своих четырех лапах сразу, опустив голову к полу. – Наг кидал меня во все стороны, но не мог стряхнуть с себя. Он умер раньше, чем большой человек разбил его на две части. Я сделал это, Рикки-Тикки, тчк-тчк! Иди же, Нагена, скорее дерись со мной. Недолго будешь ты вдовой.

Нагена поняла, что она потеряла удобный случай убить Тедди! К тому же ее яйцо лежало между лапками мангуста.

– Отдай мне яйцо, Рикки-Тикки, отдай мне последнее из моих яиц, и я уйду отсюда и никогда не вернусь, – сказала она, и ее шея сузилась.

– Да, ты исчезнешь и никогда не вернешься, потому что отправишься на груду мусора, к Нагу. Дерись, вдова! Большой человек пошел за своим ружьем. Дерись!

Глазки Рикки-Тикки походили на раскаленные угли, и он прыгал кругом Нагены, держась на таком расстоянии, чтобы она не могла укусить его. Нагена сжалась и сделала прыжок вперед, Рикки-Тикки подскочил в воздух и отпрянул от нее; кобра кинулась снова, опять и опять. Ее голова каждый раз со стуком падала на маты веранды, и змея свертывалась, как

часовая пружина. Наконец Рикки-Тикки стал, прыгая, описывать круги, в надежде очутиться позади змеи, и Нагена извивалась, стараясь держать свою голову против его головы, и шорох ее хвоста по циновке походил на шелест сухих листьев, которые гонит ветер.

Мангуст забыл о яйце. Оно все еще лежало на веранде, и Нагена приближалась и приближалась к нему. И вот, в ту секунду, когда Рикки-Тикки приостановился, чтобы перевести дух, кобра схватила свое яйцо в рот, повернулась к лестнице, спустилась с веранды и, как стрела, полетела по дорожке; Рикки-Тикки помчался за ней. Когда кобра спасает свою жизнь, она двигается, как ремень бича, изгибами падающий на шею лошади.

Рикки-Тикки знал, что он должен поймать ее, так как в противном случае все начнется сызнова. Нагена направлялась к высокой траве подле терновника, и, мчась вслед за нею, Рикки-Тикки услышал, что Дарси все еще распевает свою глупую триумфальную песенку. Жена Дарси была умнее своего мужа. Когда Нагена проносилась мимо ее гнезда, она вылетела из него и захлопала крыльями над головой кобры. Если бы Дарси помог своей подруге и Рикки, они могли бы заставить ее повернуться, но теперь Нагена только сузила шею и скользнула дальше. Тем не менее короткая остановка дала возможность Рикки подбежать к ней ближе, и, когда кобра опустилась в нору, составлявшую их жилище с Нагом, его белые зубки схватили ее за хвост и он вместе с ней спу-

стился под землю, хотя очень немногие мангусты, даже самые умные и старые, решаются бросаться за змеей в ее дом. В норе было темно, и Рикки-Тикки не знал, где подземный ход может расшириться и дать возможность Нагене повернуться и укусить его. Он изо всех сил держался за ее хвост, расставляя свои маленькие ножки, чтобы они служили тормозом, упираясь в черный, горячий, влажный земляной откос.

Трава близ входа в нору перестала качаться, и Дарси заметил:

– Для Рикки-Тикки все окончено. Мы должны спеть песню в честь его смерти. Отважный Рикки-Тикки умер! Конечно, Нагена убила его под землей.

И он запел очень печальную песню, которую сложил, вдохновленный данной минутой, но, как раз когда певец дошел до самой ее трогательной части, трава снова зашевелилась и показался весь покрытый грязью Рикки-Тикки; шаг за шагом, едва переступая ногами, он вышел из норы и облизнул свои усы. Дарси замолчал с легким восклицанием. Рикки-Тикки стряхнул со своей шерстки часть пыли и чихнул.

– Все кончено, – сказал он. – Вдова никогда больше не выйдет наружу.

Красные муравьи, которые живут между стеблями трав, услышали его замечание, засуетились и один за другим отправились смотреть, правду ли сказал он.

Рикки-Тикки свернулся в траве и заснул. Он спал до кон-

ца дня; в этот день мангуст хорошо поработал.

– Теперь, – проснувшись, проговорил зверек, – я вернусь в дом; ты, Дарси, скажи о случившемся птице Меднику, он же по всему саду разгласит о смерти Нагены.

Медник – птичка, крик которой напоминает удары маленького молотка по медной чашке; он кричит так потому, что служит глашатаем каждого сада в Индии и сообщает вести всем желающим слушать. Когда Рикки-Тикки двинулся по дорожке, он услышал его крик, обозначающий «внимание» и напоминающий звон крошечного обеденного гонга. После этого раздалось: «Динг-донг-ток! Наг умер! Донг! Нагена умерла! Динг-донг-ток». И вот все птицы в саду запели, все лягушки принялись квакать; ведь Наг и Нагена поедали не только птичек, но и лягушек.

Когда Рикки подошел к дому, к нему навстречу вышли Тедди, мать Тедди (она все еще была бледна, так как только что оправилась от обморока) и отец Тедди; они чуть не плакали над мангустом. Вечером он ел все, что ему давали, пока мог есть, и улегся спать на плече Тедди; когда же мать мальчика поздно ночью пришла взглянуть на своего сына, она увидела Рикки.

– Он спас нам жизнь и спас Тедди, – сказала она своему мужу. – Только подумай, он всех нас избавил от смерти.

Рикки-Тикки внезапно проснулся: мангусты спят очень чутким сном.

– О, это вы, – сказал он. – Чего вы хлопочете? Все кобры

убиты; а если бы и не так, я здесь.

Рикки-Тикки мог гордиться; однако он не слишком возгордился и охранял сад, как и подобало мангусту, – зубами и прыжками: и ни одна кобра не решалась больше показываться за садовой оградой.

Маленький Тумаи

Кала Наг – что значит Черный Змей – сорок семь лет служил индийскому правительству всеми способами, доступными слону. Когда его поймали, ему уже минуло двадцать лет, следовательно, теперь он приближался к семидесяти годам – зрелый возраст для слона. Кала Наг помнил, как однажды на его лоб наложили большую кожаную подушку и он вытащил орудие из глубокой грязи; это случилось до Афганской войны 1842 года, когда он еще не вошел в полную силу. Мать Кала Нага – Рада-Пиари (Рада Дорогая), – пойманная в одно время с ним, раньше чем у него выпали маленькие молочные бивни, сказала ему, что слоны, которые чего-либо боятся, неминуемо попадают в беду. И Кала Наг скоро осознал справедливость ее слов, потому что, когда перед ним в первый раз разорвался снаряд, он закричал, отступил, и штыки поранили его мягкую кожу. И так, не достигнув двадцати пяти лет, он перестал бояться чего бы то ни было, приобрел всеобщую любовь и стал считаться лучшим слоном правительства Индии; за ним ухаживали больше, чем за его собратьями. Работал он много: во время похода в Верхнюю Индию Кала Наг переносил палатки, по двести пудов палаток сразу; однажды его подняли на судно паровым краном и в течение многих дней везли по воде; в неизвестной ему стране, где-то далеко от Индии, его заставили нести на своей спине морти-

ру; и там, в Магдале, он видел мертвого императора Теодора, вернулся на пароходе и, как говорили солдаты, получил право носить медаль, выбитую в честь Абиссинской войны. Прошло десять лет; Кала Нага отослали в страшную страну Али-Мушед, где его собратья умирали от голода, холода, падучей болезни и солнечных ударов; позже его послали на несколько тысяч миль южнее, чтобы он таскал и складывал в громадные груды толстые стволы индийского дуба на лесных дворах Моул-мена. В этом месте он чуть не убил непокорного молодого слона, отказавшегося выполнить свою долю работы.

Его увели от лесных порубок и поручили ему вместе с несколькими десятками других слонов, выдрессированных специально, помогать людям ловить диких слонов в горах Наро. Правительство Индии строго охраняет слонов. Существует целый департамент, все дело которого состоит в том, чтобы отыскивать их, ловить, укрощать и рассылать повсюду, где требуется их труд.

Кала Наг имел полных десять футов роста; его клыки были отпилены, так что от них остались только куски в пять футов; концы их оковали пластинками меди, чтобы они не расщеплялись; тем не менее он мог действовать этими обрубками лучше, нежели любой необученный слон своими настоящими, заостренными бивнями.

Неделя за неделей слонов осторожно теснили через горы; наконец сорок или пятьдесят диких чудовищ попадали в по-

следний загон, и большая опускающаяся дверь, сделанная из связанных вместе стволов деревьев, падала позади них. Тогда по слову команды Кала Наг входил в этот полный фырканья и воплей пандемониум (обыкновенно ночью, когда мерцание факелов делало затруднительным правильное определение расстояний) и, выбрав самого крупного, самого дикого обладателя больших бивней, принимался бить его и гонять, пока тот не затихал, люди же, сидевшие на спинах других ручных слонов, накладывали веревки на более мелких животных из стада и связывали их.

В смысле приемов борьбы не было ничего неизвестного Кала Нагу, старому умному Черному Змею, потому что в свое время он не раз противостоял нападению раненого тигра. Изогнув вверх свой мягкий хобот, чтобы спасти его от боли, он быстрым серпообразным движением головы, которое придумал сам, откидывал прыгающего зверя так, что тот боком взлетал на воздух; сбив же тигра с ног, прижимал его к земле своими громадными коленями и не поднимался, пока вместе с выдохом и воем из зверя не вылетала жизнь. На земле оставалось только что-то пушистое, что Кала Наг поднимал за хвост.

– Да, – сказал Большой Тумаи, погонщик Кала Нага, сын Черного Тумаи, который возил его в Абиссинию, и внук Слонового Тумаи, видевшего, как Кала Нага поймали, – да, Черный Змей ничего не боится, кроме меня. Три наших поколения кормили его и ухаживали за ним, и он увидит, как это

будет делать четвертое.

– Он боится также меня, – сказал одетый в один набедренный лоскут Маленький Тумаи, выпрямляясь во весь свой рост.

Это был десятилетний старший сын Большого Тумаи, и по местному обычаю ему предстояло со временем занять место своего отца на шее Кала Нага и взять в руки тяжелый железный анкас (палка для управления слоном), который стал совсем гладким от рук его отца, деда и прадеда. Он знал, о чем говорит, так как родился в тени Кала Нага; раньше, чем научился ходить, играл концом его хобота, а едва стал держаться на ногах, привык водить его к воде. Кала Наг так же мало вздумал бы ослушаться пронзительных приказаний мальчика, как не подумал бы убить его в тот день, когда Большой Тумаи принес коричневого крошку под клыки Черного Змея и приказал ему поклониться своему будущему господину.

– Да, – сказал Маленький Тумаи, – он боится меня. – И мальчик большими шагами подошел к Кала Нагу, назвал его толстой старой свиньей и заставил одну за другой поднять ноги. – Да, – сказал Маленький Тумаи, – ты большой слон. – И он покачал своей пушистой головой, повторяя слова своего отца: – Правительство может платить за слонов, но они принадлежат нам, магутам (погонщикам, карнакам). Когда ты состаришься, Кала Наг, какой-нибудь богатый раджа купит тебя у правительства за твой рост и хорошие манеры, и тогда у тебя не будет никакого дела; ты будешь только носить

золотые серьги в ушах, золотой ховдах (род седла) на спине и вышитое золотом сукно на боках и ходить во главе шествий короля. Тогда, сидя на твоей шее, о Кала Наг, я стану управлять тобой серебряным анкасом и смотреть, как перед нами бегут люди с золотыми палками, крича: «Дорогу королевскому слону». Хорошо это будет, Кала Наг, а все же не так хорошо, как охота в джунглях.

– Гм, – сказал Большой Тумаи, – ты мальчик дикий, как буйволенок. Это беганье по горам не лучший род службы правительству. Я становлюсь стар и не люблю диких слонов. То ли дело кирпичные сараи для слонов с отдельными стойлами, с большими столбами для привязей, то ли дело плоские широкие дороги, на которых можно обучать животных. Не люблю я передвижных лагерей. Вот бараки в Кавнапуре были мне по душе. Рядом помещался базар, и работа продолжалась всего три часа.

Маленький Тумаи помнил кавнапурские слоновые сараи и промолчал. Ему гораздо больше нравилась лагерная жизнь, и он прямо-таки ненавидел широкие плоские дороги, с ежедневным собиранием травы в фуражных резервных местах, и долгие часы, во время которых ему оставалось только наблюдать, как Кала Наг беспокойно двигается в своем стойле.

Маленький Тумаи любил подниматься по узким тропинкам, доступным только слону, углубляться в долины, смотреть, как на расстоянии многих миль от него пасутся дикие слоны, наблюдать, как испуганные свиньи и павлины разбе-

гаются из-под ног Кала Нага, находиться под ослепляющими теплыми дождями, во время которых дымятся все горы и долины, любоваться превосходными туманными утрами, когда никто из охотников не может сказать, где он остановится на ночь, осторожно гнать диких слонов, присутствовать при их безумном метании, видеть яркое пламя и слышать крики во время последнего ночного загона, когда слоны потоком вливаются в огороженное пространство, точно валуны, падающие вместе с лавиной, и, понимая, что им не удастся убежать, кидаются на тяжелые врытые столбы, но тотчас же отбегают назад, испуганные криками, пылающими факелами и залпами холостых зарядов.

В таком случае даже маленький мальчик может приносить пользу. Тумаи же был полезен, как три мальчика. Он поднимал свой факел, раскачивал им и кричал изо всех сил. Но по-настоящему он веселился, когда слонов начинали выгонять из ограды, когда кеддах (название загона) превращался в картину конца мира и людям приходилось переговариваться знаками, потому что их голосов не бывало слышно. Маленький Тумаи взбирался на верхушку одного из дрожащих столбов ограды; его выгоревшие коричневые волосы развевались, падая на плечи, и в свете факелов сам он казался лесным духом. Едва наступало затишье, вы могли бы слышать его звонкие громкие восклицания, предназначавшиеся для Кала Нага и раздававшиеся, несмотря на крики, топот, треск рвущихся веревок, на стоны связанных слонов:

– Маил, маил, Кала Наг! (Вперед, вперед, Черный Змей!) Дант до! (Клыком его!) Сомало, сомало! (Осторожней, осторожней!) Маро! Маро! (Бей его, бей его!) Арре! Арре! Аи! Иай! Киа-а-ах! – кричал он.

Дравшиеся Кала Наг и дикий слон раскачивались из стороны в сторону, пересекая кеддах, а старые ловцы вытирали пот, попавший им в глаза, находя время кивать головой Маленькому Тумаи, который от радости извивался на верхушке столба.

Но не только извивался. Раз Тумаи соскользнул вниз, шмыгнул между слонами и бросил упавший на землю свободный конец веревки загонщику, старавшемуся овладеть ногой непокорного слоненка (маленькие слоны всегда доставляют больше хлопот, чем взрослые). Мальчика заметил Кала Наг, поймал его хоботом и передал Большому Тумаи, который тотчас же отшлепал сына и посадил обратно на столб.

Утром отец отругал его и сказал:

– Разве для тебя недостаточно хороших кирпичных слоновых конюшен и палаток, что тебе еще нужно принимать участие в ловле слонов, маленький бездельник? Эти глупые охотники, получающие меньше меня, рассказали о случившемся Петерсену сахибу.

Маленький Тумаи испугался. Немногих белых людей знал он, но Петерсен казался ему самым важным из них. Он был главой всех кеддахов; именно он ловил слонов для прави-

тельства Индии и лучше всех остальных живых людей знал повадки этих животных.

– А что же… что же случится теперь? – спросил Маленький Тумаи.

– Что случится? Да самое худшее. Петерсен сахиб – сумасшедший. Разве в противном случае он стал бы охотиться на этих диких дьяволов? Ему, пожалуй, вздумается потребовать, чтобы ты стал охотником на слонов, спал бы в полных лихорадкой джунглях и, наконец, чтобы тебя до смерти истоптали слоны в кеддахе. Впрочем, может быть, эта глупость закончится благополучно. На будущей неделе ловля прекратится, и нас, жителей долин, пошлют в наши деревни. Мы будем расхаживать по гладким дорогам и забудем о ловле. Но слушай, сынок, меня сердит, что ты мешаешься в дело грязных ассамских жителей джунглей. Кала Наг слушается только меня, а потому мне приходится вместе с ним входить в кеддах. Дрянной! Злой! Негодный сын мой! Пойди вымой Кала Нага, позаботься о его ушах; посмотри, чтобы в его ногах не было шипов, не то, конечно, Петерсен сахиб поймает тебя и сделает охотником, заставит ходить по следам ног слонов, и ты по его милости станешь настоящим медведем джунглей. Фу! Стыдно! Пошел прочь!

Маленький Тумаи ушел, не сказав ни слова, но, осматривая ноги Кала Нага, он поведал ему обо всех своих огорчениях.

– Не беда, – сказал Маленький Тумаи, отгибая край

огромного правого уха слона, – Петерсену сахибу сказали мое имя и, может быть… может быть… может быть… Кто знает? Аи! Вот какой большой шип я вытащил из твоего уха.

Несколько следующих дней слонов готовили к переходу; собирали их вместе; вновь пойманных диких животных водили взад и вперед, поставив каждого из них между двумя ручными слонами; это делается, чтобы они не доставляли слишком много хлопот во время спуска в долину; в то же время люди собирали войлок, веревки и все, что могло понадобиться в дороге.

Петерсен сахиб приехал на одной из своих умных слоних, Пудмини; он уже распустил охотников из горных лагерей, потому что охотничий сезон подходил к концу. Теперь за столом, под деревом, сидел туземный писец и выдавал жалованье карнакам. Получив плату, каждый погонщик отходил к своему слону и присоединялся к веренице, готовой двинуться в путь. Разведчики, охотники и загонщики, служившие при кеддахах и жившие в джунглях круглый год, сидели на спинах собственных слонов Петерсена сахиба или стояли, прислонясь к деревьям, держа ружья и смеясь над уезжавшими погонщиками; смеялись они также, когда вновь пойманные слоны разрывали цепь и убегали.

Большой Тумаи подошел к писчему вместе с Маленьким Тумаи, державшимся позади него, и при виде мальчика Мачуа Аппа, главный охотник, понизив голос, сказал своему другу:

– Вот хороший мальчишка. Жаль, что этот молодой петушок джунглей будет прозябать в долинах.

Надо сказать, что у Петерсена сахиба был острый слух, как и подобает человеку, который привык прислушиваться к движению самого бесшумного из всех живых существ – к шагам дикого слона. Лежа на спине Пудмини, он повернулся и сказал:

– Что такое? Я не слышал, чтобы между карнаками долин был хоть один человек, который сумел бы опутать веревкой хотя бы мертвого слона.

– Это не взрослый, а мальчик. В последний раз он вошел в кеддах и бросил нашему Бармао конец веревки, когда мы старались оттащить слоненка с пятном на плече от его матери.

Мачуа Аппа показал пальцем на Маленького Тумаи; Петерсен сахиб посмотрел на него, и Маленький Тумаи поклонился до земли.

– Он кинул веревку? Да ведь он ростом меньше колышка в лагерном загоне. Как тебя зовут, малыш? – спросил мальчика Петерсен сахиб.

Маленький Тумаи так испугался, что не мог говорить, но позади него стоял Кала Наг; по знаку мальчика Черный Змей схватил его своим хоботом и поднял на один уровень со лбом Пудмини. Теперь Тумаи очутился против великого Петерсена сахиба и закрыл лицо руками, потому что, когда дело не касалось слонов, он был так же застенчив и пуглив, как и все

другие дети.

– Ого, – улыбаясь в усы, заметил Петерсен сахиб. – А зачем научил ты своего слона этому фокусу? Не для того ли, чтобы он помогал тебе красть зеленый хлеб с крыш домов, на которые раскладывают сушиться колосья?

– Нет, не зеленый хлеб, Покровитель Бедных, а дыни, – ответил Маленький Тумаи, и сидевшие кругом громко расхохотались. Все они в детстве учили своих слонов этой штуке. Маленький Тумаи висел на восемь футов от земли, но желал провалиться на восемь футов под землю.

– Это Тумаи, мой сын, сахиб, – сказал Большой Тумаи и нахмурился. – Он очень дурной мальчик и окончит жизнь в тюрьме, сахиб.

– Сильно сомневаюсь, – возразил Петерсен сахиб. – Мальчик, который в его лета не боится войти в полный кеддах, не окончит жизнь в тюрьме. Смотри, малыш, вот тебе четыре анна; истрать их на сласти, даю их за то, что под большой копной волос у тебя есть голова. Со временем ты, может быть, сделаешься тоже охотником. – Большой Тумаи нахмурился больше прежнего. – Тем не менее помни, что кеддах неподходящее место для детских игр, – прибавил Петерсен сахиб.

– Значит, я не должен входить туда, сахиб? – вздыхая, спросил Маленький Тумаи.

– Да, не должен, пока не увидишь, как танцуют слоны. – Петерсен сахиб снова улыбнулся. – Когда же ты увидишь,

как пляшут слоны, приди ко мне, и я позволю тебе входить во все кеддахи.

Раздался новый взрыв хохота; это была обычная шутка охотников на слонов и обозначала – «никогда». В глубине лесов скрываются просторные поляны, которые называются бальными залами слонов; их иногда находят, но никто никогда не видел, как танцуют слоны. Когда карнак хвастается своим искусством и храбростью, его товарищи говорят ему:

– А когда ты видел, как пляшут слоны?

Кала Наг поставил Маленького Тумаи на землю; мальчик снова поклонился до земли и ушел вместе с отцом. Он отдал серебряную монетку в четыре анна своей матери, которая качала его малютку брата; потом всех их посадили на спину Кала Нага, и вереница похрюкивающих и взвизгивающих слонов закачалась по спуску в долину. Это был беспокойный переход: новые слоны подле каждого брода доставляли много хлопот; практически постоянно приходилось то уговаривать их, то бить.

Большой Тумаи сердито молчал и безжалостно колол Кала Нага; в свою очередь, и Маленький Тумаи не мог говорить, но не от досады, а от счастья: Петерсен сахиб заметил его и дал ему денег. Мальчик испытывал то же, что переживал бы рядовой, если бы главнокомандующий вызвал его из рядов и похвалил.

– А что подразумевал Петерсен сахиб под танцами слонов? – наконец тихо спросил он у своей матери.

Большой Тумаи услышал и крикнул:

– Он хотел сказать, что ты никогда не сделаешься одним из этих горных буйволов, охотников, вот что! Эй вы, передние! Кто там загородил нам дорогу?

Один карнак, ассамец, бывший впереди Тумаи на два слона, сердито повернулся и закричал:

– Выведи вперед Кала Нага и заставь моего молодого слона вести себя прилично. Зачем Петерсен сахиб именно меня послал с вами, ослы с топких рисовых полей! Поставь своего слона рядом с моим, Тумаи, пусть бы он ударил его клыками. Клянусь всеми богами гор, эти молодые дураки одержимы дьяволом или чуют в джунглях своих товарищей.

Кала Наг ударил слоненка под ребра так сильно, что тот на мгновение перестал дышать, а Большой Тумаи сказал:

– В последний раз мы очистили все горы от диких слонов. Пойманные животные беспокоятся просто потому, что ты небрежно управляешь ими. Не хочешь ли, чтобы я один держал в порядке всю вереницу?

– Право, стоит послушать его! – сказал ассамец. – Мы очистили горы! Ха, ха! Мудры вы, жители низин. Всякому, кроме никогда не видавшего джунглей глупца, известно, что слоны знают об окончании охоты этого года… Вот поэтому сегодня ночью их дикие товарищи будут… Но зачем мне тратить умные речи, разговаривая с простой речной черепахой?

– Что они будут делать? – крикнул Маленький Тумаи.

– Оэ! Малыш! Ты здесь? Хорошо, я скажу тебе, у тебя

свежая голова. Они стали бы плясать, и недурно, если бы твой отец, который очистил «все» горы от «всех» слонов, не приготовил сегодня двойные цепи.

– Это что за глупости? – сказал Большой Тумаи. – Вот уже сорок лет мы смотрим за слонами, но до сих пор никогда не слыхивали сказок об их плясках.

– Да, но житель долины, живущий в хижине, знает только четыре стены своего дома. Хорошо, не привязывай сегодня своих слонов, и ты увидишь, что случится; что же касается их танцев, я видел место, где… О, что это? Проклятье! Сколько же извилин делает река Диганга? Опять брод, и нам придется заставить детенышей плыть. Стойте вы там, сзади!

Таким-то образом, разговаривая, перебраниваясь, с шумом переправляясь через реки, они сделали первый переход, который окончился близ временного кеддаха, приготовленного для вновь пойманных животных; однако задолго до стоянки погонщики совсем измучились и потеряли терпение.

Наконец слонов привязали за задние ноги к большим столбам; вновь пойманных спутали дополнительными веревками и перед всеми положили груды корма. Погонщики с гор, пользуясь вечерним светом, отправились обратно к Петерсену сахибу, на прощанье посоветовав карнакам с низин усиленно смотреть в эту ночь за слонами; когда же те спрашивали их почему – только смеялись в ответ.

Маленький Тумаи позаботился об ужине для Кала Нага, а когда наступил вечер, невыразимо счастливый отправился

бродить по лагерю в поисках там-тама. Когда сердце мальчика-индуса переполнено, он не бегает куда придется, не шумит без смысла, он молча упивается своим счастьем. А ведь с Маленьким Тумаи разговаривал сам Петерсен сахиб! И если бы мальчик не нашел того инструмента, который он искал, я думаю, его сердце разорвалось бы. Продавец сладкого мяса дал ему на время свой маленький там-там (барабан, в который бьют ладонью), и, когда звезды начали появляться на небе, Тумаи, скрестив ноги, уселся перед Кала Нагом, положив там-там к себе на колени, и стал ударять по нему рукой, и чем больше думал он об оказанной ему великой чести, тем усерднее бил по там-таму, одиноко сидя посреди корма для слонов. В музыке этой не было ни мелодии, ни слов, но ее звуки делали мальчика невыразимо счастливым.

Вновь пойманные слоны натянули свои веревки; время от времени они взвизгивали и трубили. Тумаи слышал, как его мать баюкала в прохладной хижине его маленького братишку, усыпляя ребенка старой-старой песней о великом боге Шиве, который однажды указал всем животным, чем каждое из них должно питаться. Это очень успокоительная колыбельная песня, она начинается словами: «Шива, который рождает жатву и заставляет дуть ветры, однажды, очень, очень давно, сидел у порога дня; он каждому дал свою долю пищи, работы и судьбы» и т. д.

В конце строфы Маленький Тумаи ударял по барабану; наконец ему захотелось спать, и он растянулся рядом с Кала

Нагом.

Вот наконец слоны начали, по своему обыкновению, ложиться один за другим; легли все, только Кала Наг остался стоять в правом конце ряда; он медленно раскачивался из стороны в сторону, растопырив уши, чтобы прислушиваться к ночному ветру, который дул, проносясь между горами. Воздух наполняли ночные шумы, которые, слитые вместе, образуют глубокую тишину: звон одного ствола бамбука о другой; шорох чего-то живого в кустах; царапанье и легкий писк полупроснувшейся птицы (птицы гораздо чаще просыпаются ночью, чем мы воображаем) и отдаленное журчанье падающей воды. Маленький Тумаи проспал некоторое время, когда же он снова открыл глаза, луна светила ярко, а Кала Наг стоял, по-прежнему насторожив уши. Мальчик повернулся, трава зашуршала; он посмотрел на изгиб большой спины Черного Змея, закрывавшей половину звезд на небе, и услышал так далеко, что звук этот показался ему еле заметным, точно след от укола булавки, раздавшееся в беспредельности ночи «хуут-туут» дикого слона.

Весь ряд слонов поднялся на ноги, точно в них выстрелили, и их кряхтенье наконец разбудило спящих магутов. Карнаки стали глубже вколачивать колья своими большими колотушками, прибавлять лишние привязи и стягивать узлы крепче прежнего. Один вновь пойманный слон почти вытащил из земли свой кол; Большой Тумаи снял ножную цепь с Кала Нага и пристегнул переднюю ногу взбунтовавшегося к

его задней ноге, а на ногу Кала Нага накинул петлю из травяной веревки и приказал ему помнить, что он хорошо привязан. Большой Тумаи знал, что его отец и дед в былое время сотни раз делали то же самое. Но Кала Наг не ответил, как обыкновенно, особенным горловым журчащим звуком. Он стоял неподвижно и, приподняв голову, распустив уши, как веера, вглядывался через залитую лунным светом поляну в огромные извилины гор Гаро.

– Посмотри, не начнет ли он беспокоиться ночью, – сказал Большой Тумаи сыну, ушел в свою хижину и заснул.

Маленький Тумаи тоже засыпал, когда вдруг услышал треск разорванной травяной веревки, лопнувшей с легким звуком «танг»; в ту же минуту Кала Наг вышел из своей ограды так же медленно и бесшумно, как туча выкатывается из долины. Маленький Тумаи, шлепая своими босыми ногами, двинулся за ним по залитой лунным светом дороге и шепотом просил его:

– Кала Наг! Кала Наг! Возьми меня с собой, о Кала Наг!

Слон беззвучно повернулся, сделал три шага к мальчику, опустил свой хобот, вскинул к себе на шею Тумаи и чуть ли не раньше, чем тот успел усесться, скользнул в лес.

Со стороны привязей донесся взрыв бешеных криков слонов; потом тишина сомкнулась, и Кала Наг побежал. Иногда кусты высокой травы волновались с обеих его сторон, как волны плещут около бортов корабля; иногда ветвь вьющегося дикого перца царапала его спину или бамбук трещал под

напором его плеча; но в промежутках между этими звуками он двигался совершенно бесшумно, проникая через чащи густого леса Гаро, точно сквозь дым. Кала Наг поднимался на гору, но, хотя Маленький Тумаи в просветах между ветвями наблюдал за звездами, он не мог понять, в каком направлении.

Кала Наг достиг гребня и на минуту остановился. Теперь Маленький Тумаи мог видеть вершины деревьев; они, как бы усеянные блестками и такие пушистые под лунным светом, тянулись на много-много миль; видел он и синевато-белую дымку в ложбине над рекой. Тумаи наклонился вперед, пригляделся и почувствовал, что внизу, под ним, лес проснулся, ожил и наполнился какими-то существами. Большой коричневый, поедающий плоды нетопырь пронесся мимо уха мальчика; иглы дикобраза загремели в чаще, в темноте между стволами деревьев большой кабан рылся во влажной теплой земле, рылся и фыркал.

Над головой Тумаи снова сомкнулись ветви, и Кала Наг начал спускаться в долину – на этот раз неспокойно; так сорвавшаяся пушка стремительно катится с крутого берега. Громадные ноги слона непрерывно двигались, точно поршни, шагая через восемь футов сразу, морщинистая кожа на сгибах его ног шелестела. Низкие кусты по обеим сторонам Кала Нага шуршали со звуком рвущегося полотна; молодые деревья, которые он раздвигал своими плечами, пружиня, возвращались на свои прежние места и хлестали его по бо-

кам, а длинные гирлянды различных сплетенных вместе лиан свешивались с его клыков и колыхались, когда он покачивал головой из стороны в сторону, прорубая для себя дорогу. Маленький Тумаи совсем прижался к большой шее слона, чтобы какая-нибудь качающаяся ветвь не смела его на землю; в глубине души мальчик желал снова очутиться в лагере.

Трава начала чмокать; ноги Кала Нага тонули и вязли; ночной туман в глубине долины леденил Маленького Тумаи. Послышался плеск, журчание быстро движущейся воды, и Кала Наг пошел вброд через реку, на каждом шагу ощупывая дорогу. Сквозь шум воды, плескавшейся около ног слона, Маленький Тумаи слышал другой плеск и крики слонов вверху по течению реки и внизу; до него донеслось громкое ворчание, сердитое фырканье; вся дымка вокруг него, казалось, наполнялась волнистыми тенями.

– Ах, – произнес он вполголоса, и его зубы застучали, – все слоны в эту ночь освободились. Значит, они будут танцевать.

Кала Наг вышел из реки; вода ручьями стекала с него, он продул свой хобот и снова начал подниматься. Но на этот раз не в одиночестве; ему не пришлось также расчищать дорогу. Перед ним уже была готовая тропинка шириной в шесть футов; примятая на ней трава джунглей старалась расправиться и подняться. Вероятно, всего за несколько минут до него в этом месте прошло много слонов. Маленький Тумаи оглянулся: крупный дикий слон с большими бивнями и со сви-

ными глазками, горевшими как раскаленные угли, выходил из туманной реки. Но деревья тотчас же снова сблизились, и они двинулись вперед и вверх; повсюду слышались крики слонов, треск и шум ломающихся веток.

Наконец на самой вершине горы Кала Наг остановился между двумя стволами. Стволы эти составляли часть кольца деревьев, которое окаймляло пространство в три-четыре акра; на всей площадке, как мог видеть мальчик, земля была утоптана и тверда, точно кирпичный пол. В ее центре росло несколько деревьев, но их кора была содрана, и обнаженные места этих стволов при свете луны блестели, точно полированные. С их верхних ветвей свешивались лианы и большие белые, как бы восковые, колокольчики, похожие на цветы вьюнка, покачивались в крепком сне; внутри же кольца из деревьев не виднелось ни одной зеленой былинки; там не было ничего, кроме утрамбованной земли.

При свете месяца она казалась серой, как сталь; только от слонов падали чернильно-черные тени. Маленький Тумаи, затаив дыхание, смотрел на все глазами, которые, казалось, были готовы выскочить из орбит, и чем больше он смотрел, тем больше показывалось слонов. Маленький Тумаи умел считать только до десяти; он много раз считал по пальцам, наконец потерял счет десяткам десятков, и у него начала кружиться голова. Вокруг открытой площадки он слышал треск низких кустов; это слоны поднимались по горному склону; но едва выходили они из-за деревьев, как

начинали двигаться, точно призраки.

Тут были дикие слоны самцы, с белыми бивнями и осыпанные листьями, орехами и ветвями, которые застряли в морщинах на их шеях и в складках их ушей; были и толстые, медленные слонихи с маленькими беспокойными, розовато-черными слонятами высотой в три-четыре фута, пробегавшими у них под животами; молодые слоны, с только что начавшими показываться бивнями и очень гордые этим; худые шероховатые слонихи, старые девы, с вытянутыми тревожными мордами и бивнями, похожими на грубую кору; дикие старые одинокие слоны, покрытые шрамами от плеч до боков, с большими рубцами, оставшимися от прежних боев, с засохшим илом, приставшим к ним во время их одинокого купанья и теперь осыпавшимся с их плеч; был между ними один с обломанным бивнем и с огромным рубцом на боку, следом ужасного удара тигровых когтей.

Они стояли друг против друга, или по двое расхаживали взад и вперед по площадке, или же поодиночке качались. Десятки и сотни слонов.

Тумаи знал, что, пока он неподвижно лежит на спине Кала Нага, с ним ничего не случится, потому что даже во время суеты и драки в кеддахе вновь загнанный дикий слон не ударяет хоботом и не стаскивает человека с шеи ручного слона; а слоны, бывшие здесь в эту ночь, не думали о людях. Один раз все они вздрогнули и подняли уши, услышав в лесу лязг ножных цепей, но это подходила Пудмини, любимица Пе-

терсена сахиба; она разорвала свою цепь и теперь, фыркая и ворча, поднималась на гору. Вероятно, Пудмини сломала изгородь и явилась прямо из лагеря Петерсена сахиба; в то же время Маленький Тумаи увидел другого слона, незнакомого ему, с глубокими шрамами от веревок на спине и груди. Он тоже, вероятно, убежал из какого-нибудь лагеря в окрестных горах.

Все затихло; в лесу больше не было слонов; Кала Наг, качаясь, сошел со своего места между деревьями, с легким клокочущим и журчащим звуком вмешался в толпу, и все слоны принялись разговаривать между собой на собственном наречии, и все задвигались.

По-прежнему неподвижно лежа, Маленький Тумаи смотрел вниз на множество десятков широких спин, колышущихся ушей, качающихся хоботов и маленьких вращающихся глаз. Он слышал, как одни бивни, случайно ударив о другие, звенели, слышал сухой шелест свивавшихся вместе хоботов, скрип огромных боков и плеч в толпе и непрерывный свист машущих больших хвостов. Облако закрыло луну, и он остался в черной темноте, но спокойный непрерывный шелест, постоянная толкотня и ворчанье продолжались. Мальчик знал, что кругом Кала Нага повсюду были слоны и что вывести Черного Змея из этого собрания невозможно. Итак, Тумаи сжал зубы и молча дрожал. В кеддахе по крайней мере блестел свет факелов, слышался крик, а здесь он был совсем один, в темноте, и раз какой-то хобот поднялся к нему

и дотронулся до его лица.

Вот один слон затрубил; все подхватили его крик, и это продолжалось пять или десять ужасных секунд. С деревьев скатывалась роса и, точно дождь, падала на невидимые спины; скоро поднялся глухой шум, сперва не очень громкий, и Маленький Тумаи не мог сказать, что это такое; звуки разрастались. Кала Наг поднял сперва одну переднюю ногу, потом другую и поставил их на землю. Повторялось: раз, два, раз, два – постоянно, как удары молота. Теперь все слоны топали в такт, и раздавался такой звук, будто подле входа в пещеру колотили в военный барабан. Роса падала, и ее капель больше не осталось на деревьях, а грохот продолжался, и земля качалась и вздрагивала; Маленький Тумаи зажал руками уши, чтобы не слышать этого стука. Но топот сотен тяжелых ног по обнаженной земле превращался в один исполинский толчок, который сотрясал все его тело. Раза два мальчик почувствовал, что Кала Наг и все остальные сделали несколько шагов вперед; после этого звук изменился; Тумаи слышал, что огромные ноги давили сочные зеленые поросли; но пролетели минуты две, и снова начались удары по твердой земле. Где-то близ Маленького Тумаи дерево затрещало и застонало. Он протянул руку и нащупал кору, но Кала Наг двинулся вперед, продолжая стучать ногами, и мальчик не мог бы сказать, в каком месте площадки находится он. Слоны не кричали, только лишь два или три маленьких слоненка взвизгнули одновременно. Потом Тумаи услышал

шелест, и топот начался снова. Так продолжалось, вероятно, целых два часа, и нервы Тумаи были напряжены, однако по запаху ночного воздуха он чувствовал приближение зари.

Утро пришло в виде полосы бледно-желтого сияния позади зеленых гор, и стук ног остановился с первым же лучом, точно свет был сигналом. Раньше, чем в голове Маленького Тумаи улегся звон и шум, даже раньше, чем он успел изменить свою позу, поблизости не осталось ни одного слона, кроме Кала Нага, Пудмини и слона со шрамами от веревок; никакой признак, никакой шелест или шепот среди деревьев на горных откосах не указывал, куда ушли остальные животные.

Маленький Тумаи осмотрелся. Насколько он помнил, открытая площадка за эту ночь увеличилась. На ней теперь оказалось меньше деревьев, чем было прежде, а кусты и трава по ее краям пригнулись к земле. Маленький Тумаи посмотрел еще раз. Теперь он понял значение топота. Слоны утрамбовали новое пространство земли, раздавили густую траву и сочный бамбук в мочалы, мочалы превратили в лохмотья, лохмотья в тонкие фибры, а фибры вдавили в почву.

– Ба, – сказал Маленький Тумаи, и его веки отяжелели, – Кала Наг, господин мой, будем держаться близ Пудмини и двинемся к лагерю Петерсена сахиба, не то я упаду с твоей шеи.

Третий слон посмотрел на двоих, уходивших вместе, фыркнул, повернулся и пошел собственным путем. Вероят-

но, он принадлежал какому-нибудь мелкому туземному правителю, жившему в пятидесяти, шестидесяти или в сотне миль от площадки.

Через два часа, когда Петерсен сахиб сидел за своим первым завтраком, его слоны, на эту ночь привязанные двойными цепями, принялись трубить, и Пудмини, запачканная илом до самых плеч, а также и Кала Наг, у которого болели ноги, притащились в лагерь.

Лицо Маленького Тумаи стало совсем серым, осунулось, в его пропитанных росой волосах запуталось множество листьев; тем не менее он попробовал поклониться Петерсену сахибу и слабым голосом закричал:

– Пляски, пляски слонов! Я видел их и умираю…

Кала Наг припал к земле, и мальчик в глубоком обмороке соскользнул с его шеи.

Но у туземных детей такие нервы, что о них не стоит и говорить, а потому через два часа очень довольный Тумаи лежал в гамаке Петерсена сахиба; охотничье пальто Петерсена было под головой мальчика, а в его желудке был стакан горячего молока, немного водки и щепотка хинина. Старые волосатые, покрытые рубцами охотники джунглей в три ряда сидели перед ним, глядя на него, точно на духа. Он в нескольких словах, по-детски, рассказал им о своих приключениях и закончил словами:

– Теперь, если я сказал хоть одно слово лжи, пошлите людей посмотреть на это место; они увидят, что слоновый на-

род увеличил площадку своей танцевальной комнаты; найдут также один десяток, другой, много десятков тропинок, ведущих к этому месту. Своими ногами они утрамбовали землю. Я видел это. Кала Наг взял меня, и я видел. И поэтому у Кала Нага очень устали ноги.

Маленький Тумаи опять улегся, заснул, проспал все долгие послеполуденные часы, проспал и сумерки; а в это время Петерсен сахиб и Мачуа Аппа прошли по следам двух слонов, тянувшимся пятнадцать миль через горы. Восемнадцать лет Петерсен сахиб ловил слонов, но до этого дня только однажды видел место слоновых плясок. Мачуа Аппа взглянул на площадку и тотчас же понял, что здесь происходило; он поковырял пальцем в плотной, утрамбованной земле и заметил:

– Мальчик говорит правду. Все это было сделано в прошедшую ночь, и я насчитал семьдесят следов, пересекающих реку. Видите, сахиб, вот тут ножная цепь Пудмини сорвала кору с дерева. Да, она тоже была здесь.

Они переглянулись, посмотрели вверх, вниз и задумались. Обычаев слонов не могут ни постичь, ни измерить умы черных или белых людей.

– Сорок и пять лет, – сказал Мачуа Аппа, – я, мой лорд, хожу за слонами, но никогда не слыхивал, чтобы ребенок или взрослый человек видел то, что видел этот мальчик. Клянусь всеми богами гор, это… Что мы можем сказать? – И он покачал головой.

Они вернулись в лагерь, подходило время ужина. Петерсен сахиб закусил один в своей палатке, но приказал дать в лагерь двух овец и несколько кур, а также отпустить каждому служащему двойную порцию муки, риса и соли; он знал, что они будут пировать.

Большой Тумаи поспешно пришел из долины в лагерь сахиба за своим сыном и за своим слоном и теперь смотрел на них, точно боясь их обоих. Начался праздник при свете пылающих костров, зажженных против стойл слонов, и Маленький Тумаи был героем дня. Крупные коричневые ловцы, охотники, разведчики, карнаки, канатчики и люди, знающие тайные способы укрощения самых диких слонов, передавали мальчика из рук в руки и мазали ему лоб кровью из груди только что убитого петушка джунглей в знак того, что он свободный житель леса, посвященный во все тайны джунглей и имеющий право проникать, куда ему угодно.

Наконец пламя костра потухло, и красный свет головешек придал коже слонов такой оттенок, точно их тоже погрузили в кровь. Мачуа Аппа, глава всех загонщиков во всех кеддахах; Мачуа Аппа, второе «я» Петерсена сахиба; человек, за сорок лет не видавший ни разу дороги, сделанной руками людей; Мачуа Аппа, настолько великий, что у него было только одно имя – Мачуа Аппа, – поднялся на ноги, держа высоко над своей головой Маленького Тумаи, и закричал:

– Слушайте, мои братья! Слушайте и вы, мои господа, привязанные к столбам, потому что говорю я, Мачуа Аппа.

Этого мальчика не будут больше называть Маленький Тумаи, отныне он Слоновый Тумаи, как называли перед ним его прадеда. Целую долгую ночь он созерцал то, чего никогда не видал ни один человек, и милость народа слонов и любовь богов джунглей покоятся на нем. Он сделается великим охотником, станет выше меня, да, даже выше меня, Мачуа Аппы. Своим ясным взглядом он будет без труда распознавать новые следы, старые следы, смешанные следы. Ему не причинят вреда в кеддахах, когда ему придется пробегать между слонами, чтобы накинуть веревку на дикаря, и, если он проскользнет перед ногами несущегося одинокого слона, этот одинокий слон узнает, кто он такой, и не раздавит его. Ай-ай! Мои господа в цепях! – Он повернулся к ряду слонов. – Смотрите: этот мальчик видел ваши пляски в ваших тайниках – зрелище, которое никогда еще не открывалось зрению ни одного человека. Почтите его, мои господа! Салаам Каре, дети! Салютуйте Слоновому Тумаи! Гунга Першад! Ахаа! Хира Гудж, Бирчи Гудж, Куттар Гудж! Ахаа! Пудмини, ты видела его во время пляски, и ты тоже, Кала Наг, моя жемчужина среди слонов! Ахаа! Ну, все вместе! Слоновому Тумаи Баррао!

И при последнем диком восклицании Мачуа Аппы все слоны вскинули свои хоботы до того высоко, что их концами коснулись своих лбов. В ту же секунду раздался полный салют, грохочущий трубный звук, который слышит только вице-король Индии – салаамут (привет) кеддаха.

И все это в честь Маленького Тумаи, который видел то, чего раньше не видал ни один человек, – танцы слонов ночью, видел один в самом сердце гор Гаро.

Слуги ее величества

Целый месяц шел сильный дождь, падая на лагерь из тридцати тысяч людей, многих тысяч верблюдов, слонов, лошадей, быков и мулов, собранных в Раваль Пинди для смотра вице-короля Индии. Он принимал эмира Афганистана, дикого властителя очень дикой страны. Эмир в качестве почетной стражи привел с собой восемьсот людей и лошадей, никогда не видавших ни лагеря, ни локомотива, – диких людей и диких лошадей, взятых откуда-то из Центральной Азии. Каждую ночь несколько этих неукротимых коней непременно разрывали свои путы и принимались носиться взад и вперед по темному лагерю, полному липкой грязи; иногда вырывались и верблюды, бегали, спотыкались, падали, наталкиваясь на веревки палаток, и вы можете себе представить, как это бывало приятно для людей, желавших попытаться заснуть! Моя палатка стояла далеко от привязей верблюдов, но раз ночью какой-то человек просунул голову в мое холщовое жилище и закричал:

– Выходите скорее! Они бегут сюда! Моя палатка погибла.

Я знал, кого он называл «они», а потому надел сапоги, непромокаемый плащ и выбежал в мокрую грязь. Маленькая Виксон, моя собачка фокстерьер, выскочила с другой стороны. Поднялись рев, ворчанье, шлепанье; я увидел, как моя палатка повисла, когда сломался ее основной шест, и скоро

принялась танцевать, точно сумасшедшее привидение. Под нее попал верблюд; и я, промокший и рассерженный, невольно все же расхохотался; потом побежал, не зная, сколько верблюдов сорвалось с привязи. Пробивая себе дорогу в липкой грязи, я очутился вне лагеря.

Вот мои ноги задели за лафет пушки, и я понял, что попал к линии артиллерии, куда на ночь ставили орудия. Не желая больше в темноте месить грязь под моросящим дождем, я накинул мой дождевик на дуло одной из пушек и с помощью двух-трех найденных мной веток устроил себе своеобразный вигвам, лег вдоль орудия и мысленно спросил себя, где моя Виксон и куда судьба занесла самого меня.

Как раз в ту минуту, когда я уже засыпал, послышалось звяканье сбруи, фырканье и мимо меня прошел мул, встряхивая мокрыми ушами. Он принадлежал к батарее горных орудий; я узнал это по скрипу ремней, звону колец, цепей и тому подобных предметов на его вьючном седле. Горные орудия – маленькие, опрятные пушки, которые состоят из двух частей; когда приходит время пустить их в дело, эти две половины скрепляют вместе. Их берут на вершины гор, повсюду, где мул находит дорогу, и они очень полезны для боев в гористых местностях.

Позади мула шел верблюд; его большие мягкие ноги чмокали по грязи и скользили; его шея изгибалась взад и вперед, точно у бродящей курицы. К счастью, я достаточно хорошо знаю язык животных (конечно, не наречие диких зверей, а

язык домашних животных, получив это знание от туземцев) и мог понять, о чем они говорили.

Конечно, это был тот верблюд, который попал в мою палатку, так как он крикнул мулу:

– Что мне делать? Куда идти? Я бился с чем-то белым, развевающимся, и эта вещь схватила палку и ударила меня по шее. – Он говорил о сломанном шесте, и мне было очень приятно узнать, что кол его ударил. – Убежим мы?

– А, так это ты, – сказал мул. – Ты и твои друзья встревожили весь лагерь? Прекрасно! Завтра утром вас за это побьют, а теперь и я могу дать тебе кое-что в задаток.

Я услышал звон сбруи, мул осадил, и верблюд получил два удара под ребра и зазвенел, как барабан.

– Другой раз, – продолжал мул, – ты не кинешься ночью через батарею мулов с криком: «Воры и пожар!» Садись и не верти глупой шеей.

Верблюд сложился вдвое, по-верблюжьи, как двухфутовая линейка, и, повизгивая, сел. В темноте послышался мерный топот копыт, и рослая полковая лошадь подскакала к нам таким спокойным галопом, точно гарцевала во время парада; она перепрыгнула через конец лафета и остановилась рядом с мулом.

– Это позорно, – сказал крупный конь, выпуская воздух через ноздри. – Эти верблюды опять прорвались через наши ряды, третий раз на одной неделе! Как может остаться лошадь здоровой, если ей не дают спать? Кто здесь?

– Я – мул для переноски казенной части пушки номер два, из первой батареи горных орудий, – ответил мул, – и со мной один из твоих друзей. Он разбудил и меня тоже. А ты кто?

– Номер пятнадцатый отряда «Е», девятый уланский полк, лошадь Дика Кенлиффа. Пожалуйста, посторонись.

– О, прошу извинения, – ответил мул. – Так темно, что видишь плохо. Ну не надоедливы ли эти верблюды? Я ушел от моих товарищей, чтобы получить минуту спокойствия и тишины.

– Господа мои, – скромно сказал верблюд, – нам снились дурные сны, и мы очень испугались. Я только грузовой верблюд 39-го Туземного пехотного полка, и я не так храбр, как вы, мои господа.

– Так почему же вы не остаетесь на ваших местах и не носите грузов для 39-го Туземного пехотного полка, вместо того чтобы бегать по всему лагерю? – сказал мул.

– Это были такие дурные сны, – повторил верблюд. – Я извиняюсь. Слушайте! Что это? Не броситься ли бежать?

– Сиди, – сказал мул, – не то твои длинные ноги застрянут между пушками. – Он насторожил одно ухо и прислушался. – Волы, – продолжал он, – орудийные волы. Даю слово, ты и твои друзья разбудили весь лагерь. Приходится долго толкать орудийного вола, чтобы поднять его на ноги.

Я услышал, что по земле волочится цепь, и к группе подошла пара сомкнутых одним ярмом крупных, мрачных белых волов, которые тянут тяжелые осадные орудия, когда слоны

отказываются подойти ближе к линии огня; почти наступая на эту цепь, двигался другой артиллерийский мул, который диким голосом звал Билли.

– Это один из наших рекрутов, – заметил старый мул полковой лошади. – Он зовет меня. Я здесь, юноша, перестань кричать; до сих пор темнота никогда никому не вредила.

Орудийные волы легли рядом и стали пережевывать жвачку, а молодой мул совсем прижался к Билли.

– К нам, – сказал он, – ворвались страшные, ужасные существа, Билли. Когда мы спали, они подбежали к нашим привязям. Как ты думаешь, они убьют нас?

– Мне очень хочется порядком проучить тебя, – сказал Билли. – Только подумать! Мул, получивший такое воспитание, как ты, позорит батарею в присутствии благородного коня.

– Тише, тише, – сказала полковая лошадь. – Вспомни, вначале все таковы. В первый раз, когда я увидела человека (это случилось в Австралии, и мне тогда только что минуло три года), я бежала половину дня, а явись в то время передо мной верблюд, я и до сих пор не остановилась бы.

Почти все лошади для английской кавалерии привозятся из Австралии, и их объезжают сами солдаты.

– Правда, – сказал Билли. – Перестань же дрожать, юный мул. Когда в первый раз на меня надели сбрую со всеми этими цепями, я, стоя на передних ногах, лягался и сбросил с себя решительно все. В то время я еще не научился лягаться

как следует, но батарея сказала, что никто никогда не видывал ничего подобного.

– Но теперь ведь не звенела сбруя, – возразил молодой мул. – Ты знаешь, Билли, что на такие вещи я уже не обращаю больше внимания. К нам прибежали чудища вроде деревьев и, покачиваясь, помчались вдоль наших рядов; моя привязь лопнула, я не нашел моего кучера, не нашел и тебя, Билли, а потому убежал с… вот с этими джентльменами.

– Гм, – протянул Билли. – Как только я узнал, что верблюды сорвались, я спокойно ушел. Скажу одно: когда мул из батареи разборных пушек называет артиллерийских волов джентльменами, это значит, что он сильно потрясен. Кто вы?

Орудийные волы перекинули свои жвачки из стороны в сторону и в один голос ответили:

– Седьмая пара первой пушки из батареи крупных орудий. Прибежали верблюды; в это время мы спали, но они начали наступать на нас, и мы поднялись и ушли. Лучше спокойно лежать в грязи, чем испытывать беспокойство на хорошей подстилке. Мы уверяли вашего друга, что бояться нечего, но этот мудрец держался другого мнения. Уа!

Они продолжали жевать.

– Вот что значит трусить, – сказал Билли. – Над испугавшимся насмехаются орудийные волы. Я надеюсь, тебе это нравится, юный друг мой?

Зубы молодого мула скрипнули, и я услышал, как он про-

бормотал что-то о невозможности бояться каких-то глупых волов, волы же стукнулись друг о друга рогами и продолжали жевать жвачку.

– Не злись. Сердиться после испуга худший род трусости, – заметила полковая лошадь. – Каждого, я думаю, можно извинить за то, что он ночью испугался, увидав что-то непонятное для себя. Мы, четыреста пятьдесят лошадей, иногда волновались только потому, что вновь приведенный конек рассказывал нам о змеях Австралии, и в конце концов начинали до смерти бояться свободных концов наших арканов.

– Все это прекрасно в лагере, – заметил Билли. – Простояв на месте дня два, я сам не отказываюсь сорваться и мчаться вместе с другими просто ради удовольствия; но как поступаешь ты во время действительной службы?

– Ну, это совсем другого рода новые подковы, – ответила конской поговоркой полковая лошадь. – Тогда на моей спине сидит Дик Кенлифф, сжимает меня коленями, и мне остается только наблюдать, куда я ставлю копыта, держать под собой задние ноги и «понимать» повод.

– Что значит «понимать» повод? – спросил молодой мул.

– Клянусь камедными деревьями! – фыркнула полковая лошадь. – Неужели ты хочешь сказать, что тебя не научили этому? Можно ли что-нибудь делать, не умея поворачиваться, едва повод касается твоей шеи? Ведь от этого зависит жизнь или смерть твоего человека и, следовательно, твоя жизнь или смерть. Поджимай задние ноги, едва почувство-

вал повод на шее. Если нет места повернуться, необходимо немного осадить и сделать поворот на задних ногах. Вот это значит «понимать» повод.

– Нас этому не учат, – натянутым тоном заметил Билли. – Мы научаемся повиноваться человеку, который двигается впереди, останавливаться, когда он скажет, и, по его слову, двигаться вперед. Я полагаю, что дело сводится к одному и тому же. Скажи же, чего, в сущности, ты достигаешь благодаря всем этим прекрасным фокусам, поворотам, осаживанию?

– Зависит от обстоятельств, – ответила полковая лошадь. – Обыкновенно мне приходится вступать в толпу поющих волосатых людей с ножами, с длинными блестящими ножами, которые хуже ножей повара, и стараться, чтобы сапог Дика легко касался сапога его соседа. Я вижу копье Дика справа от моего правого глаза и понимаю, что мне не грозит опасность. О, мне не хотелось бы очутиться на месте человека или лошади, находящихся против нас с Диком, когда мы скачем во весь дух.

– А разве эти ножи не ранят? – спросил молодой мул.

– Ну, однажды меня резанули по груди, но не по вине Дика.

– Стал бы я заботиться, кто виноват, раз мне больно, – заметил молодой мул.

– Приходится об этом думать, – возразила полковая лошадь. – Если ты не будешь доверять своему человеку, лучше

сразу беги. Так и поступают некоторые из наших, и я не виню их. Как я и говорила, меня ранили не по вине Дика. Он лежал на земле, я шагнула, чтобы не наступить на него, и он ударил меня. Когда в следующий раз мне придется переступить лежащего человека, я наступлю на него ногой, наступлю сильно.

– Гм, – сказал Билли, – все это мне кажется довольно глупо. Ножи всегда вещь скверная. Лучше подниматься на гору с хорошо пригнанным седлом, цепляться за камни всеми четырьмя ногами, карабкаться и извиваться, пока не очутишься на несколько сотен футов выше всех остальных и не остановишься на площадке, где места хватает только для твоих четырех копыт. Тогда стоишь неподвижно и спокойно – никогда не проси человека придержать твою голову, юноша, – стоишь и ждешь, чтобы части пушек скрепили, а потом смотришь, как маленькие круглые снаряды падают на вершины деревьев там, далеко внизу.

– А ты никогда не спотыкаешься? – спросила полковая лошадь.

– Говорят, что, когда мул спотыкается, можно расщепить куриное ухо, – сказал Билли. – Может быть, плохо надетое седло иногда способно пошатнуть мула, но это случается крайне редко. Хотелось бы мне показать вам всем наше дело. Оно прекрасно. Сознаюсь, понадобилось три года, чтобы я узнал, чего хотят от нас люди. Все искусство заключается в том, чтобы мы никогда не виднелись на горизонте, так как

в противном случае нас могут осыпать выстрелами. Помни это, юноша. Старайся всегда по возможности скрываться, даже если для этого тебе придется сделать крюк в целую милю. Когда дело доходит до подъема на горы, я веду за собой батарею.

– Знать, что в тебя стреляют, не имея возможности броситься в толпу стреляющих, – задумчиво сказала полковая лошадь. – Я не могла бы этого вынести! Мне непременно захотелось бы напасть на них вместе с Диком.

– О нет, нет, ты не могла бы сделать этого; знаешь, когда орудия занимают позицию, нападают только пушки. Это научный и правильный метод, а ножи… Фу!

Некоторое время грузовой верблюд вертел своей головой, желая вставить слово, потом я услышал, как он, прочистив горло, нервно заметил:

– Я… я… я тоже немного сражался, но не так, как вы, взбираясь на горы или бросаясь на неприятеля.

– Конечно, раз ты упоминаешь об этом, – бросил ему Билли. – Замечу, что ты, по-видимому, не создан для подъемов на горы или долгого бега. Ну, скажи, как же было дело, скажи, старый Сенной Тюк?

– Бились как следует, – ответил верблюд. – Все мы сели…

«Ах, мой круп и лопатки!» – про себя произнесла полковая лошадь и вслух прибавила:

– Ты говоришь «сели»?

– Да, сели, все сто верблюдов сели, – продолжал он, – и об-

разовали большой квадрат, люди нагромоздили наши вьюки и седла внутри этого квадрата и принялись стрелять поверх наших спин во все четыре стороны.

– А что это были за люди? – спросила полковая лошадь. – В кавалерийской школе нас учат ложиться и не мешать нашим хозяевам стрелять через нас, но я позволила бы сделать это только одному Дику Кенлиффу. Это щекочет меня подле подпруги; кроме того, когда моя голова лежит на земле, я ничего не вижу.

– Не все ли равно, кто стреляет через тебя? – спросил верблюд. – Ведь тогда поблизости много других людей, много других верблюдов, и поднимается громадное количество клубов дыма. Тогда я нисколько не боюсь. Я сижу тихо и жду.

– А между тем, – заметил Билли, – когда тебе снятся дурные сны, ты пугаешься и тревожишь лагерь. Ну, ну! Раньше, чем я лягу, не говорю уж сяду, и позволю человеку стрелять через себя, мои копыта поговорят с его головой. Слышали ли вы что-нибудь ужаснее этого?

Наступило продолжительное молчание. Наконец один из орудийных волов поднял свою огромную голову и сказал:

– Да, очень глупо. Существует только один хороший способ борьбы.

– Продолжай, – заметил Билли. – И, пожалуйста, не щади меня. Предполагаю, что вы, волы, сражаетесь, стоя на ваших хвостах?

– Существует только один способ войны, – сказали сразу

оба вола. (Они, вероятно, были близнецы.) – Вот какой. Едва протрубит Двухвостка (лагерное прозвище слонов), запрягают двадцать пар волов в одно большое орудие…

– А зачем трубит Двухвостка? – спросил молодой мул.

– С целью показать, что он не хочет подходить к дыму. Двухвостка – трус. Мы все вместе тащим огромное орудие.

– Хейа! Хуллах! Хейах! Хуллах! Мы не карабкаемся, как кошки, и не бежим, как телята. Мы идем по гладкой долине, все двадцать пар, пока нас не разомкнут, а тогда начинаем пастись. Крупные пушки через низменность говорят с каким-нибудь городом, окруженным глиняными стенами; куски стен падают, пыль взвивается так высоко, точно домой идет множество скота.

– О, и вы в это время пасетесь? – спросил молодой мул.

– И в это время, и в другое. Есть всегда приятно. Мы едим, пока на нас снова не наложат ярмо и мы не повезем пушку обратно к тому месту, где ее ждет Двухвостка. Иногда в городе тоже оказываются большие орудия; они нам отвечают, и кое-кто из нас бывает убит; для оставшихся оказывается больше травы. Это судьба – только судьба. Тем не менее Двухвостка – великий трус. Вот настоящий способ сражаться. Мы братья и пришли из Гапура. Наш отец был священный бык Шивы. Мы закончили говорить.

– Надо сознаться, что я многое узнала в эту ночь, – заметила полковая лошадь. – Скажите, джентльмены разборных пушек, чувствуете ли вы наклонность щипать траву, когда в

вас стреляют из крупных орудий, а позади вас шагает Двухвостка?

– Мы так же мало склонны есть в это время, как садиться, позволять людям стрелять через нас или кидаться в толпу солдат, вооруженных ножами. Я никогда не слыхивал ничего подобного. Горная площадка, хорошо уравновешенный груз, погонщик, который, я знаю, позволит мне выбирать дорогу, – и я к вашим услугам; но все остальное – нет! – сказал Билли.

– Понятно, – протянула полковая лошадь, – не все устроены одинаковым образом, и я вполне ясно вижу, что благодаря вашему происхождению с отцовской стороны вы не в силах понимать многое.

– Прошу не касаться моего рода с отцовской стороны, – сердито возразил Билли (ни один мул не любит напоминания о том, что его отцом был осел). – Мой отец был джентльмен с Юга, и он мог сбить с ног, искусать и разорвать ногами в клочья любую лошадь, попавшуюся на его пути. Помни ты, большой коричневый Брембай!

«Брембай» значит дикая невоспитанная лошадь. Представьте себе чувство скакуна, которого ломовая лошадь назовет «клячей», и вы поймете, что испытал австралийский полковой конь. Я видел, как в темноте блеснули его белки.

– Слушай ты, сын привозного с Малаги осла, – сказал он сквозь зубы. – Знай, что с материнской стороны я в родстве с Кербайном, который выиграл Мельбурнский кубок. Там, от-

куда я, мы не привыкли, чтобы нами управляли плохо подкованные мулы с языком попугая, с глупой головой и служащие в батарее духовых пушек, стреляющих горохом. Ты готов?

– Поднимайся, – взвизгнул Билли.

Они оба стали друг против друга на дыбы, и я ждал, что начнется ожесточенный бой, но вдруг из темноты справа послышался горловой раскатистый голос:

– Из-за чего вы деретесь тут, дети? Успокойтесь.

Оба животных, фыркнув с досадой, опустились на ноги, потому что ни лошади, ни мулы терпеть не могут голоса слона.

– Это Двухвостка, – сказала полковая лошадь. – Я не выношу его. По хвосту с каждого конца! Противно!

– Я испытываю то же самое, – сказал Билли, подходя поближе к полковой лошади. – В некоторых отношениях мы с тобой походим друг на друга.

– Я думаю, мы унаследовали это сходство от наших матерей, – заметила полковая лошадь. – Не стоит ссориться. Эй ты, Двухвостка, ты привязан?

– Да, – ответил Двухвостка и засмеялся во весь свой хобот. – Меня загородили на ночь, и я слышал все, что вы говорили. Но не бойтесь, я не перешагну изгороди.

Волы и верблюд тихонько сказали:

– Бояться Двухвостки? Что за вздор?

И волы прибавили:

– Нам жаль, что ты слышал, но мы говорили правду. Двухвостка, почему ты боишься пушек, когда они стреляют?

– Ну, – сказал Двухвостка, потирая одну заднюю ногу о другую совершенно так, как это делает маленький мальчик, декламируя поэму, – я не знаю, поймете ли вы меня.

– Мы многого не понимаем, но нам приходится возить пушки, – ответили волы.

– Я это знаю, знаю также, что вы гораздо смелее, чем сами думаете. Я – другое дело. Капитан моей батареи на днях назвал меня «толстокожим анахронизмом».

– Это еще новый способ вести сражение? – спросил Билли, который уже оправился.

– Ты не понимаешь, что это значит, но я понимаю. Это значит «между и посреди», и это мое место. Когда снаряд взрывается, я своими мозгами понимаю, что произойдет после взрыва; вы же, волы, не понимаете мозгами.

– Я понимаю, – сказала полковая лошадь. – По крайней мере отчасти, но стараюсь не думать о том, что понимаю.

– Я понимаю больше тебя и думаю об этом. Я знаю, что мне следует заботиться о себе, я так велик; известно мне также, что, когда я бываю болен, никто не умеет лечить меня; люди могут только прекратить выдачу жалованья моему погонщику, пока я не поправлюсь, а моему погонщику я не могу доверять.

– Ага, – заметила полковая лошадь, – вот и объяснение! Я доверяю Дику.

– Ты можешь посадить целый полк таких Диков на мою спину, а я все-таки от этого не буду чувствовать себя лучше. У меня достаточно знаний, чтобы тревожиться, и слишком мало их, чтобы, несмотря на тревогу, идти вперед.

– Мы тебя не понимаем, – сказали волы.

– Да, не понимаете, а потому я и не говорю с вами. Вы не знаете, что такое кровь.

– Знаем, – возразили волы. – Это красное вещество, оно впитывается в землю и пахнет.

Полковая лошадь брыкнула, подпрыгнула и фыркнула.

– Не говорите о ней, – сказала она. – Думая о крови, я чувствую ее запах, а запах этот вселяет в меня желание бежать прочь… когда на моей спине нет Дика.

– Да ведь ее же нет здесь, – сказали в один голос верблюд и волы. – Почему ты такая глупая?

– Это противное вещество, – сказал Билли. – У меня нет желания броситься бежать, но я не хочу разговаривать о крови.

– Вот, вот. На этом вам следует остановиться, – сказал Двухвостка, в виде пояснения помахивая хвостом.

– Конечно. Мы и так простояли здесь всю ночь, – согласились с ним волы.

Двухвостка нетерпеливо стукнул о землю своей ногой, и железное кольцо на ней зазвенело.

– Ах, о чем с вами говорить! Вы ничего не видите мозгом.

– Нет, мы только видим нашими четырьмя глазами, – ска-

зали волы, – но видим решительно все, что нам встречается.

– Если бы мне приходилось только смотреть и ничего больше, вас не заставляли бы возить крупные орудия. А если бы я походил на моего капитана (он видит мозгом многое до начала стрельбы и весь дрожит, но не убегает), так вот, если бы я походил на него, я мог бы стрелять из пушки. Однако, будь я вполне мудр, я не был бы здесь. Я по-прежнему оставался бы королем леса, половину дня спал бы и купался бы, когда мне вздумается. Теперь же я целый месяц не мог выкупаться как следует.

– Все это прекрасно, – сказал Билли, – и тебе дали странное имя, но ведь длинное название не помогает понимать непонятное.

– Тсс! – сказала полковая лошадь. – Мне кажется, я понимаю, что говорит Двухвостка.

– Через минуту ты поймешь это еще яснее, – сердито проговорил слон. – Ну-с, пожалуйста, объясни, почему тебе не нравится вот «это»? – И он с ожесточением затрубил во всю силу своего хобота.

– Перестань, перестань! – сказал Билли, и я услышал, как они в темноте дрожали и топали ногами. Крик слона всегда неприятен, в темную же ночь особенно.

– Не перестану, – сказал Двухвостка. – Не угодно ли вам объяснить следующее: Ххррмф! Рррт! Рррмф! Рррхха!

Вдруг он замолчал, из мрака до меня донесся легкий визг, и я понял, что Виксон наконец отыскала меня. Она отлично

знала, как знал и я, что больше всего в мире он боится маленькой лающей собачки.

Виксон тявкала, прыгая вокруг больших ног Двухвостки. Двухвостка беспокойно задвигался и, слегка крякнув, сказал:

– Уходи, собачка, не обнюхивай моих щиколоток, не то я ударю тебя. Добрая собачка! Ну, милая собаченька! Уходи домой, тявкающее маленькое животное. Ах, почему это никто не возьмет ее? Она сейчас меня укусит.

– Мне сдается, – сказал полковой лошади Билли, – что наш друг Двухвостка боится многого. Ну, если бы мне давали достаточно пищи за каждую собаку, которую я швырял через военную площадку, я был бы теперь почти так же жирен, как Двухвостка.

Я свистнул, Виксон подбежала ко мне и, грязная с головы до ног, стала лизать мне нос и принялась пространно объяснять, как она отыскивала меня в лагере. Я никогда не давал ей понять, что мне известен язык животных, ведь в противном случае она слишком распустилась бы. Итак, я только посадил ее к себе на грудь и застегнул пальто. Двухвостка зашаркал ногами, потопал ими и проворчал про себя:

– Удивительно! До крайности удивительно! Это у нас бывает в семье. Куда же девалось злое маленькое животное?

Я услышал, как он стал хоботом ощупывать землю вокруг себя.

– У каждого из нас, по-видимому, есть своя болезнь, –

сказал он, продувая хобот. – Вот вы все, кажется, боитесь, когда я трублю.

– Не могу назвать своего чувства настоящим страхом, – возразила полковая лошадь. – Но в это время во мне рождается такое ощущение, точно там, где на моей спине должно лежать седло, копошатся оводы. Пожалуйста, довольно!

– Я боюсь маленькой собаки, верблюд пугается дурных ночных сновидений.

– Для всех нас хорошо, что нам не приходится сражаться одинаковым образом, – заметила полковая лошадь.

– Вот что я хочу узнать, – спросил очень долго молчавший молодой мул. – Я хочу знать: почему нам вообще приходится сражаться?

– Да потому, что нам приказывают идти в бой, – презрительно фыркнув, сказала полковая лошадь.

– Приказ, – подтвердил мул Билли и резко закрыл рот, щелкнув зубами.

– Хукм-хей. Так приказано, – произнес верблюд, и в его горле что-то булькнуло.

Двухвостка и волы повторили:

– Хукм-хей!

– Да, но кто же приказывает? – спросил мул-рекрут.

– Человек, который идет перед тобой, или сидит на твоей спине, или держит веревку, продетую в твой нос, или крутит твой хвост, – поочередно сказали Билли, полковая лошадь, верблюд и волы.

– А кто дает им приказания?

– Ну, ты хочешь знать слишком многое, юнец, – сказал Билли, – а за это не хвалят. Тебе нужно только повиноваться человеку, идущему перед тобой, и не задавать вопросов.

– Правда, – сказал слон. – Я не всегда повинуюсь, но ведь я «между и посреди», тем не менее Билли прав. Повинуйся человеку, который идет подле тебя и дает тебе приказания, потому что в противном случае тебя не только побьют, но ты еще и остановишь батарею.

Орудийные волы поднялись, чтобы уйти.

– Подходит утро, – сказали они. – Мы вернемся к нашим рядам. Правда, что мы видим только глазами и не особенно умны; а все же сегодня ночью мы одни ничего не испугались. Покойной ночи, вы, храбрые существа.

Никто не ответил им, и для перемены разговора полковая лошадь сказала:

– Где же маленькая собака? Где есть собака, там недалеко и человек.

– Я здесь, – тявкнула Виксон, – под лафетом с моим человеком. – Ты, крупный, неловкий верблюд, опрокинул нашу палатку. Мой человек очень сердится.

– Фу! – сказали волы. – Он, вероятно, белый?

– Ну, конечно, – ответила Виксон. – Неужели вы предполагаете, что за мной смотрит черный погонщик волов?

– Ах! Уах! Ух! – сказали волы. – Уйдем поскорее.

Они двинулись прочь, увязая в грязи, каким-то образом

умудрились зацепить своим ярмом за дышло фуры с припасами, где оно и застряло.

– Ну, готово, – спокойно сказал Билли. – Да не бейтесь вы! Теперь вы останетесь здесь до утра. Но в чем же дело?

Раздалось продолжительное свистящее фырканье, свойственное рогатому скоту Индии; волы бились, теснились друг к другу, топали ногами, скользили, вязли в грязи и чуть было не упали на землю, все время яростно кряхтя.

– Через минуту вы сломаете себе шеи, – сказала им полковая лошадь. – Что в белых людях? Я живу поблизости от них…

– Они… едят… нас! Вперед! – сказал ближайший вол. Ярмо с треском разломилось надвое, и громадные животные двинулись дальше.

До тех пор я не знал, почему индийский домашний скот так боится англичан. Мы едим бычье мясо, до которого не дотрагивается ни один индусский погонщик; итак, понятно, почему мы не нравимся туземному рогатому скоту.

– Пусть меня исколотят цепями от моего собственного вьючного седла! Кто бы подумал, что два таких огромных чудовища могут совсем обезуметь? – произнес Билли.

– Не обращай на них внимания. Я посмотрю на этого человека. Я знаю, у большинства белых в карманах лежат хорошие вещи, – сказала полковая лошадь.

– В таком случае я уйду. Не могу сказать, чтобы я сам слишком любил их. Кроме того, белый человек, у которого

нет собственного места для ночлега, по всей вероятности, вор, а у меня на спине много вещей, принадлежащих правительству. Ну, юнец, отправимся к своим. Спокойной ночи, Австралия! Вероятно, мы с тобой увидимся завтра во время парада. Покойной ночи, старый Сенной Мешок! В будущем старайся лучше владеть собой. Спокойной ночи, Двухвостка. Пожалуйста, проходя мимо нас по площадке, не труби. Это портит правильность нашего строя.

Мул Билли пошел прочь покачивающейся походкой старого воина; голова лошади пододвинулась ко мне, и ее нос стал обнюхивать мне грудь; я дал ей бисквитов. Виксон же, самая тщеславная собачка в мире, принялась рассказывать ей сказки о тех десятках лошадей, которых будто бы мы с нею держали.

– Завтра я приеду на парад в моем шарабане, – сказала она. – Где ты будешь?

– С левой стороны второго эскадрона. Я держу ритм для всего моего полка, маленькая леди, – вежливо объяснила полковая лошадь. – Теперь я должна вернуться к Дику. Мой хвост совсем запачкался, и Кенлиффу придется усиленно поработать два часа, чтобы привести меня в порядок перед парадом.

В этот день был большой парад. Мимо нас двигались полки, одна за другой прокатывались волны шагавших в ногу ружей, вытянутых в одну линию, и наконец наше зрение помутилось. Вот прекрасным кавалерийским галопом в такт

песне «Бонни Денди» проехала кавалерия, и, сидя в шарабане, Виксон насторожила одно ухо. Пронесся второй уланский эскадрон; в его рядах была наша полковая лошадь; она твердо держала ритм для всего своего эскадрона, и ее ноги скользили с легкостью мелодии вальса. Потом проехали крупные орудия, и я увидел Двухвостку и еще двух слонов, заложенных гуськом в сорокафунтовое осадное орудие, за ними двигались двадцать пар волов. На седьмой паре лежало новое ярмо, и оба эти вола имели усталый неповоротливый вид. В самом конце появились разборные пушки, Билли-мул держался так, точно он командовал всеми войсками.

Вот опять пошел дождь, и на несколько минут в воздухе повисла густая дымка; не было видно, что делают войска. Они описали на равнине большой полукруг и стали вытягиваться в одну линию, которая все росла, росла и росла, пока наконец от одного ее конца до другого не образовалось пространство в три четверти мили; это была одна прочная стена из людей, лошадей и орудий. И вот она двинулась прямо на вице-короля и эмира; когда стена эта приблизилась, земля задрожала, как палуба парохода при быстрой работе машин.

Если вы не были там, вы не вообразите себе, какое страшное впечатление производит постоянное приближение войск даже на тех зрителей, которые знают, что они видят только парад. Я взглянул на эмира. До этих пор он не выказывал ни тени изумления или какого-либо другого чувства; теперь же его глаза стали расширяться все больше и больше; он натя-

нул поводья своей лошади и оглянулся. С минуту казалось, что вот-вот он обнажит саблю и прорубит себе дорогу через толпу английских мужчин и женщин, заполнявших экипажи позади него. Движение войск прекратилось; почва успокоилась; вся линия войск салютовала; тридцать оркестров заиграли сразу. Наступил конец парада, и войска под дождем направились к своим лагерям.

И я услышал, как старый, седой, длинноволосый начальник племени из Центральной Азии, приехавший вместе с эмиром, задавал вопросы одному туземному офицеру.

– Скажите, – спросил он, – как могли сделать эту удивительную вещь?

Офицер ответил:

– Было дано приказание, его выполнили.

– Да разве животные так же умны, как люди? – продолжал спрашивать азиат.

– Они слушаются, как люди. Мул, лошадь, слон или вол, каждый повинуется своему погонщику; погонщик – сержанту; сержант – поручику; поручик – капитану, капитан – майору; майор – полковнику; полковник – бригадиру, командующему тремя полками; бригадир – генералу, который склоняется перед приказаниями вице-короля, а вице-король – слуга императрицы. Вот как делается у нас.

– Хорошо, если бы так было и в Афганистане, – сказал старик, – ведь там мы подчиняемся только нашей собственной воле.

– Вот потому-то, – заметил офицер туземцу, покручивая свой ус, – вашему эмиру, которого вы не слушаетесь, приходится являться к нам и получать приказания от нашего вице-короля.

Чудо Пуруна Бхагата

Однажды в Индии жил человек, был он первым министром одного из полунезависимых туземных государств, которое лежало в северо-западной части страны. Он был брамин такой высокой касты, что касты потеряли для него какое-либо значение. В свое время отец его занимал очень важное положение при том же пестревшем разноцветной мишурой, тогда еще старозаветном индусском дворе. Однако, когда Пурун Дасс вырос и развился, он начал чувствовать, что прежний порядок вещей начинает изменяться, что человек, который желает преуспевать, должен находиться в хороших отношениях с англичанами и подражать всему, что они считают необходимым. В то же самое время он знал, что туземному сановнику следует сохранять милость своего собственного господина. Это была трудная игра, тем не менее хладнокровный, молчаливый молодой брамин, получивший английское образование в Бомбейском университете, вел ее умно и шаг за шагом поднялся до положения первого министра маленького государства. Иначе говоря, в его руках сосредоточилось больше реальной власти, нежели было у его господина магараджи.

Когда старый властитель, относившийся подозрительно к англичанам с их железными дорогами и телеграфами, умер, Пурун Дасс получил большое влияние на его молодого пре-

емника, воспитанного англичанином, они вместе – впрочем, Пурун Дасс всегда старался, чтобы все приписывалось магарадже, – устроили школы для маленьких девочек, проложили дороги, завели государственные склады и выставки земледельческих орудий и стали издавать ежегодные синие книги о «Моральном и материальном прогрессе государства». Министерство иностранных дел и правительство Индии были в восторге. Очень немногие туземные государства принимают в полном объеме английский прогресс, не веря, как верил Пурун Дасс (и на деле доказал это), что все пригодное для англичанина вдвое пригоднее для азиата. Первый министр скоро сделался высокочтимым другом вице-короля, губернаторов, заместителей губернаторов, докторов и миссионеров, отлично ездящих верхом английских офицеров, которые приезжали, чтобы поохотиться в государственных заповедниках; он нравился также всем ордам туристов, наполнявших Индию в холодную погоду. В свободное время Пурун Дасс давал людям средства для изучения медицины и различных ремесел, строго держась английских образцов, а также писал статьи в самую распространенную в Индии газету «Пионер» и в этих статьях объяснял цели и стремления своего господина.

Наконец Пурун Дасс поехал в Англию и по возвращении был принужден уплатить огромную сумму жрецам, потому что даже брамин такой высокой касты, к какой он принадлежал, теряет свои права, переплыв через море. В Лондоне

Пурун знакомился со всеми, с кем стоило познакомиться, с людьми, имена которых гремят по свету, подолгу беседовал с ними и видел гораздо больше, чем потом говорил. Многие университеты поднесли ему почетные ученые степени; он произносил речи и рассказывал об индусской социальной реформе английским леди в вечерних туалетах, так что в конце концов весь Лондон закричал: «С тех пор как столы начали покрываться скатертями, с нами никогда не обедал такой очаровательный человек!»

Когда Пурун Дасс вернулся в Индию, он принес с собой сияние славы; сам вице-король специально приехал в маленькое государство с целью возложить на магараджу орден Большого Креста Звезды Индии, весь покрытый бриллиантами, рубинами и эмалью; во время этой же церемонии под грохот пушечных выстрелов Пуруна Дасса сделали рыцарем-командором ордена Индийской империи, и с тех пор его имя стало сэр Пурун Дасс Р. К. И.И.

В этот вечер за обедом в большом парадном шатре вице-короля он поднялся во весь рост и, украшенный орденом с цепью, отвечая на тост в честь своего господина, сказал такую речь, которую могли бы затмить немногие англичане.

Прошел месяц, в город вернулся обычный зной и покой, и Пурун Дасс поступил так, как никогда не вздумалось бы поступить ни одному англичанину: он отошел от мирских дел. Его осыпанный драгоценностями командорский орден вернулся к индийскому правительству, все дела перешли в

руки нового первого министра, и почта принялась работать, давая дело всем своим отделениям. Жрецы знали, что случилось, народ угадывал, но Индия такое место, где человек может поступать как ему угодно и никто не станет спрашивать почему. Никто не нашел ничего необыкновенного в том, что сэр Пурун Дасс покинул высокий пост, дворец, власть, взамен взяв в руки чашу нищего и накинув на себя желтую одежду санья-си (монаха). По правилам древнего закона он пробыл двадцать лет юношей, двадцать лет воителем, хотя никогда в жизни не носил меча, и двадцать лет главой дома.

Он употреблял свое богатство и свое могущество на то, что считал нужным; принимал почести, когда они встречались на его пути; на родине и на чужбине знакомился с людьми и городами, и люди и города чтили его. Теперь он сбросил с себя все это, как человек сбрасывает плащ, который ему больше не нужен.

Он вышел из городских ворот, унося под мышкой шкуру антилопы, посох с окованной медью рукояткой, держа в руке нищенскую чашу из прочного полированного коричневого морского кокоса, босоногий, одинокий, опустив глаза к земле. Между тем позади него с бастионов раздались выстрелы, салюты в честь его счастливого преемника. Пурун Дасс кивнул головой. Вся «эта» жизнь окончилась для него, но при мысли о прошлом в нем не шевелилось ни злого, ни доброго чувства, как у человека не остается никакого впечатления от бесцветного ночного сновидения. Он был теперь

саньяси, бездомный бродячий нищий, и его насущный дневной хлеб зависел от милости других людей. Но пока в Индии есть кусок съестного, который один человек может разделить с другим, никакой монах или нищий не умрет с голоду. Пурун Дасс никогда в жизни не пробовал мяса, даже рыбу ел редко. Пятифунтовая кредитка покрыла бы его личный годовой расход на еду в те времена, когда он был единовластным распорядителем миллионных богатств. Уже во дни своего блестящего пребывания в Лондоне Пурун Дасс лелеял мечту о мире и спокойствии; в его уме рисовалась длинная белая, пыльная дорога, вся покрытая следами босых ног; он мысленно видел непрерывное медленное движение по ней и чувствовал резкий запах древесного дыма, в сумраке доносящийся из-под фиговых деревьев, оттуда, где путники садятся ужинать.

Когда наступила пора осуществить эту мечту, первый министр сделал все необходимые шаги, и через три дня вам было бы легче отыскать пузырек воздуха в широком водовороте Атлантики, нежели Пуруна Дасса среди бродячих, встречающихся и расстающихся миллионов индусов.

Ночью он расстилал на земле кожу антилопы там, где его заставала темнота: на обочине дороги, в монастыре саньяси, подле сделанного из глины святилища Кала Пир, где йоги, другое мистическое общество святых людей, принимали его, как делают все знающие, что обозначают касты и отделы монахов, иногда на краю какой-нибудь индусской деревушки,

куда прибегали дети с пищей, приготовленной их родителями, иногда же близ пастбищ, где отсвет от его костра будил дремлющих верблюдов. Пуруну Дассу, или Пуруну Бхагату, как он теперь называл себя, было все равно, где отдыхать. Земля, люди и пища – все стало для него безразлично. Тем не менее ноги Пуруна бессознательно несли его к северу и востоку, с юга к Рохтаку, от Рохтака – к Курнулю, от Курнуля – к разрушенному Саманаху, потом – вверх по иссохшему руслу реки Гуггир, которое наполняется, только когда с вершин текут дождевые потоки. И вот он увидел отдаленную линию высоких Гималайских гор.

Пурун Бхагат улыбнулся; он вспомнил, что его мать была браминкой из Кулу – уроженка гор, вечно тосковавшая по снежным вершинам, и мысленно сказал себе, что несколько капель крови горцев в конце концов влекут человека к горной стране.

– Там, – сказал Пурун Бхагат, поднимаясь на нижние склоны гор, где стояли кактусы, похожие на семисвечные светильники, – там я останусь, и ко мне придет знание.

Прохладный гималайский ветер свистел в его ушах, пока он шел по дороге, ведущей к Симле.

В последний раз он ехал по этой дороге с бряцающим кавалерийским эскортом, направляясь к самому кроткому и самому приветливому из вице-королей. Они целый час толковали вдвоем о лондонских общих друзьях и о настроениях простонародья Индии. Теперь же Пурун Бхагат никого не на-

вещал. Вот он остановился и стал смотреть на красивые низины, которые раскинулись под ним; наконец туземный полицейский-магометанин сказал ему, что он мешает движению по дороге, и Пурун Бхагат почтительно повиновался закону, так как хорошо знал его значение и теперь сам отыскивал для себя новые собственные законы. Он двинулся дальше, и эту ночь спал в пустой хижине на Чете Симле, которая кажется границей мира. Однако его путешествие только что началось.

Пурун Бхагат пошел по гималайско-тибетскому пути, по маленькой десятифутовой дороге, взрывами проделанной в крепкой скале или поднимающейся на деревянных подпорках над пропастями глубиной в тысячу футов. Она то спускается в теплые, влажные, защищенные от ветра долины, то вьется через покрытые травой или обнаженные отроги гор, которые солнце раскаляет, словно сквозь зажигательное стекло, то бежит через темные росистые леса, где стоят древесные папоротники, снизу доверху одетые листьями, а фазан призывает свою подругу. Пурун Дасс встречал тибетских пастухов с собаками и стадами овец, из которых каждая несла на спине маленький мешок с бурой; встречал он также бродячих дровосеков, идущих в Индию на богомолье тибетских лам, в плащах и пледах; посольства мелких уединенных горных государств, мчащиеся на пегих и смелых лошадках; или едущего к соседу раджу с его свитой. Иногда же в течение долгого ясного дня замечал, только далеко от себя, вни-

зу, черного медведя, который, кряхтя, вырывал коренья из земли. Когда Бхагат двинулся в путь, в его ушах еще отдавался гул покинутого им мира; так туннель долго гудит после того, как поезд уже вышел из него. Но после горного прохода Муттианы все закончилось; путник остался наедине с собой; он шел, размышлял и думал; его глаза смотрели в землю, мысль улетала за облака.

Раз вечером Пурун Бхагат достиг такого высокого горного прохода, каких до тех пор еще не встречал; подниматься к нему пришлось два дня, и он увидел ряд снежных вершин, закрывавших весь горизонт. Это были горы от пятнадцати до двадцати тысяч футов высотой; они, казалось, стояли так близко, что в них можно было бы попасть брошенным камнем, тогда как по-настоящему находились на расстоянии пятидесяти или шестидесяти миль от Пуруна. Проход был увенчан густым темным лесом из деодаров, грецких орешин, диких вишен, диких маслин и диких груш; но больше всего было деодаров, то есть гималайских кедров. И в тени стояло покинутое святилище богини Кали, она же Дурга, она же Сигала, и ей иногда поклоняются как защитнице от оспы.

Пурун Дасс подмел пол маленького храма, улыбнулся широко усмехавшейся статуе, в глубине храмика устроил из глины небольшой очаг, положил кожу антилопы на ложе из свежих сосновых игл, взял свой бераджи (посох с медной рукояткой) под мышку и сел отдохнуть.

Под ним начинался чистый горный откос, спускавшийся

на тысячу пятьсот футов; маленькая деревня из домов с каменными стенами и с крышами из битой глины лепилась по склону, а кругом этого поселка лежали расположенные террасами поля, которые пестрели, точно передник, составленный из лоскутов материи, на коленях горы; коровы, казавшиеся не крупнее жуков, щипали траву между гладкими каменными кольцами молотильных площадок. Расстояние искажало размеры предметов, и человек не сразу понимал, что низкие кусты на противоположной горе, в сущности, лес из стофутовых сосен.

Пурун Бхагат видел, как над исполинской впадиной пронесся орел и как огромная птица превратилась в точку, еще не достигнув половины низины. Вот над равниной протянулось несколько отдельных облаков; одни из них зацепились за плечи гор, другие поднялись, поравнялись с верхней точкой прохода и растаяли.

– Здесь я найду покой! – прошептал Пурун Бхагат.

Надо сказать, что житель гор без труда проходит несколько сотен футов вверх и вниз; поэтому, едва в деревне завидели дым над покинутым святилищем, сельский жрец взобрался по террасам горного откоса, чтобы приветствовать пришельца.

Когда он встретил взгляд Пуруна Бхагата – взгляд человека, который привык управлять тысячными толпами, – он склонился до земли, безмолвно взял его нищенскую чашу, вернулся обратно в деревню и сказал:

– Наконец-то и у нас есть свой святой. Никогда не видывал я подобного человека. Он уроженец низин, но со светлой кожей. Он брамин из браминов.

Все деревенские хозяйки в один голос спросили:

– Как ты думаешь, он останется с нами?

И каждая принялась готовить вкусное кушанье для Бхагата.

Пища горцев очень проста, но из гречихи, индийской ржи, риса, красного перца и мелких рыбок, пойманных в потоке долины, из меда, взятого из сот, устроенных в каменных оградах, с прибавкой сушеных абрикосов, дикого имбиря и овсяных лепешек благочестивая женщина может приготовить отличную еду, и жрец отнес Бхагату полную чашу.

– Останется ли он? – спросил жрец. – Нужен ли ему чела (ученик), который молился бы за него? Есть ли у него байковое одеяло для защиты от холода? Вкусна ли была присланная пища?

Пурун Бхагат поел и поблагодарил. Да. Он намеревался остаться.

– Этого достаточно, – сказал жрец. – Пусть он ставит свою нищенскую чашу вне святилища, во впадине, образованной вот этими двумя извивающимися корнями, и тогда Бхагат будет ежедневно получать пищу, потому что деревня считает для себя честью, что такой человек, – жрец застенчиво посмотрел на Бхагата, – остается среди них.

С этого дня окончились странствия Пуруна Бхагата. Он

отыскал место, предназначенное ему, нашел тишину и широкий простор. И время остановилось. Сидя при входе в маленький храм, Бхагат не мог бы сказать, жив он или умер, человек ли он, владеющий своими руками и ногами, или часть гор, облаков, ливня и солнечного света. Он тихо повторял про себя одно имя, повторял многие сотни раз, и наконец при каждом новом повторении ему стало казаться, что он все больше и больше отделяется от своего тела и двигается к дверям великого и страшного открытия; но как раз в то мгновение, когда двери начинали отворяться, тело увлекало его обратно, и он с печалью ощущал, что плоть и кости Пуруна Бхагата держат его в своих оковах.

Каждое утро полная чаша бесшумно ставилась в переплетении корней подле стены маленького святилища. Иногда ее приносил жрец; иногда купец, живший в деревне и желавший заслужить милость неба, поднимался к святилищу Кали; чаще же всего чашу приносила женщина, приготовившая кушанье накануне вечером; опуская ее, она еле слышным шепотом просила: «Скажи обо мне богам, Бхагат. Заступись за такую-то жену такого-то!» Время от времени эту честь доверяли какому-нибудь смелому мальчику, и Пурун Бхагат слышал, как ребенок поспешно ставил чашу и убегал во всю силу своих маленьких ног. Сам же Бхагат никогда не спускался в деревню. Точно карта лежала она у его ног. Он мог видеть вечерние собрания людей на молотильных площадках, которые представляли собой единственные плоско-

сти; видел чудесный, непередаваемый зеленый оттенок молодого риса, синеву индийской ржи, четырехугольные пятна пшеницы, а в свое время красные цветы амарантов, крошечные семена которых – не то зернышки, не то пыль – представляют собой пищу, дозволенную индусу во время постов.

Когда лето сменялось осенью, крыши хижин превращались в маленькие квадраты из чистейшего золота, потому что земледельцы сушили на них свой хлеб. Сбор меда и жатва риса, посевы и уборка полей – все происходило перед его глазами, как бы вышитое, там, внизу, на многоугольных участках. Он думал о происходящем и спрашивал себя:

– К чему это все приведет в конце концов?

Даже в населенной части Индии человек не может целый день просидеть неподвижно без того, чтобы к нему не прибежали дикие существа, так бесстрашно, точно он скала; а в этой глуши животные, хорошо знавшие святилище Кали, очень скоро вернулись посмотреть на незваного гостя. Прежде всех, конечно, пришли лангуры, крупные гималайские обезьяны с серыми бакенбардами. Их переполняло любопытство. Они вытащили нищенскую чашу, покатали ее по полу, попробовали силу своих зубов на медной отделке посоха, состроили гримасы антилоповой шкуре и решили, что сидевшее неподвижно человеческое существо не опасно. По вечерам они стали соскакивать с веток сосен и, протягивая руки, просить пищи, а потом грациозными прыжками бросались назад. Им также нравилась теплота огня, и они так тес-

нились к очагу, что Пуруну Бхагату приходилось расталкивать их, чтобы подбросить дрова в огонь; утром он зачастую видел, что мохнатая обезьяна спала под его теплым одеялом. Целый день то одна, то другая из племени обезьян сидела рядом с ним, глядя на далекие снега, и нежно ворковала с неописуемо мудрым и печальным видом.

После обезьян пришел баразинг, большой гималайский олень, похожий на нашего рыжего оленя, но крупнее и сильнее его. Он намеревался соскрести бархатистый покров со своих рогов о холодные камни статуи Кали и, завидев в храмике человека, сердито топнул ногой. Пурун Бхагат не пошевелился, и мало-помалу царственное создание сделало шаг вперед и обнюхало плечо отшельника. Пурун Бхагат провел одной своей прохладной рукой по горячим разветвлениям рога оленя, и это прикосновение успокоило раздраженного баразинга; он наклонил голову, и Пурун Бхагат очень нежно соскреб с его рогов бархат. Позже баразинг стал приводить к нему свою лань и детеныша, кротких созданий, жевавших одеяло святого. Иногда он вечером приходил один, чтобы получить свою долю свежих грецких орехов, и в отсвете костра его глаза казались зелеными. Наконец пришла кабарга, самое робкое и чуть ли не самое мелкое животное из всех оленьков, и взглянула на Пуруна Бхагата, насторожив свои большие, как у кролика, уши; даже молчаливый пятнистый «мушик набха» явился узнать, что обозначает свет в храме, и опустил свой нос, напоминавший нос лося, на колени Пуру-

на Бхагата, то подступая к нему, то отступая к двери вместе с тенями, качавшимися от пламени очага. Пурун Бхагат называл их всех «мои братья», и его тихий призыв «бхаи, бхаи» заставлял животных в полдень выходить из леса, если только они были на таком расстоянии, что могли слышать голос отшельника. Гималайский черный медведь, капризный и подозрительный Сона, под подбородком которого виднеется белый знак в виде латинского «V», не раз прокрадывался мимо святилища Кали. Бхагат не выказывал страха, поэтому и Сона не выражал гнева, но наблюдал за отшельником; наконец он подошел к Бхагату и потребовал от него своей доли ласки, хлеба или диких ягод. Очень часто, когда на небе разливалась тихая заря, Бхагат взбирался на верхний гребень утеса горного прохода, чтобы наблюдать, как пробужденный красный свет бежит вдоль снежных вершин, и видел, что Сона, волоча свои ноги и пофыркивая, идет по его следам, просовывает любопытную переднюю лапу под лежащие стволы и с нетерпеливым «вуф» вынимает ее обратно. Иногда ранние блуждания Бхагата будили Сону, спавшего где-нибудь, свернувшись клубком, и большой зверь поднимался на задние лапы, собираясь начать бой, но, слыша голос отшельника, понимал, что перед ним его лучший друг.

Почти про всех пустынников и монахов, живущих вдали от больших городов, рассказывают, что они могут совершать чудеса с дикими зверями, но для такого чуда нужно только, чтобы человек молчал, никогда не делал ни одного резкого

движения и долгое время не смотрел в глаза своего дикого посетителя. Жители деревни видели смутный силуэт барасинга, который, точно тень, проходил в темном лесу подле святилища Кали; видели, что минол, гималайский фазан, в своем лучшем оперении сверкал перед статуей Кали, а внутри храмика лангуры, сидя на корточках, играли скорлупой грецких орехов. Многие дети слышали, как Сона, по обыкновению медведей, пел про себя свою песенку где-то среди обвалившихся камней, и за Бхагатом упрочилась слава творителя чудес.

Между тем он не думал о совершении чудес. Он считал, что все в мире – одно великое чудо и что человек, знающий это, обрел некоторую мудрость. Он твердо верил, что во всей вселенной нет ничего великого и ничего ничтожного, и день и ночь стремился постичь сущность вещей и вернуться туда, откуда явилась его душа.

Так он думал; его волосы отросли и теперь падали на плечи; в том месте каменной плиты, подле края антилоповой шкуры, где вечно стоял посох Бхагата, образовалась ямка, а то место между корнями деревьев, где день изо дня оставалась нищенская чаша, углублялось и стало почти таким же отполированным, как и сам сосуд; каждое животное знало свое определенное место подле очага. По мере изменения времен года меняли окраску и поля внизу; молотильные площадки наполнялись, пустели и наполнялись снова; с наступлением зимы лангуры сновали между ветвями, припу-

шенными легким снегом, а весной матери-обезьяны приносили с собой из теплых долин своих маленьких детенышей с печальными глазками. В деревне произошло мало перемен. Священник постарел, многие из детей, приходивших к Бхагату с нищенской чашей, теперь посылали к нему своих собственных детей, а когда кто-либо спрашивал жителей деревни, давно ли их святой живет в святилище Кали близ горного прохода, они отвечали: «Всегда жил».

Вот наступили такие летние дожди, каких много-много лет не видали в горах. Целых три месяца долину окутывали тучи и наполненный влагой туман; постоянный неумолимый дождь прерывался ливнем с грозой, и по окончании одной грозы налетала другая. Святилище Кали по большей части оставалось над тучами, и однажды Бхагат целый месяц ни разу не видел своей деревни. Она скрывалась под белым покровом, который качался, шевелился, клубился, вздымался в виде арки, но не срывался со своих устоев, облитых потоками дождя утесов.

Все это время Бхагат слышал только шум миллиона капель воды: она лилась с деревьев, бежала под его ногами по земле, просачивалась сквозь хвою сосен, падала каплями с листочков промокших папоротников, неслась по вновь прорытым мутным руслам. Потом вышло солнце и разлился аромат деодаров и рододендронов; в воздухе чувствовался также чистый запах, который горцы зовут «благоуханием снегов». Жаркое солнце светило неделю, после этого дожди

собрались для последнего ливня, и с неба хлынули потоки воды, которые, ударяясь о землю, поднимали фонтаны грязи. В этот вечер Пурун Бхагат сложил в очаге большую груду топлива; он был уверен, что его братьям понадобится тепло. Но ни одно животное не пришло в святилище, хотя он звал их, звал, пока не упал и не заснул, спрашивая себя: что же случилось в лесах?

Наступил самый темный час ночи, ливень барабанил, точно тысяча барабанов, и вот отшельник проснулся: кто-то дергал его одеяло; протянув руку, он нащупал лапу лангура.

– Ага, здесь лучше, чем среди деревьев, – сонным голосом проговорил Пурун Бхагат и расправил складку своего одеяла. – Вот тебе, согрейся.

Обезьяна сжала его руку и резко дернула ее.

– Значит, есть хочешь? – сказал Пурун Бхагат. – Подожди немного, я достану кушанье.

Когда он опустился на колени, чтобы подбросить в очаг топлива, лангур подбежал к выходу из маленького храма, промурлыкал что-то, снова подбежал к Бхагату и схватил его за колено.

– В чем дело? Что с тобой случилось, брат? – спросил Пурун, так как глаза лангура были полны мыслями, которых он не мог высказать. – Если только один из твоей касты не попал в ловушку (а здесь никто не ставит ловушек), я не выйду на воздух в такую погоду. Посмотри, брат, даже баразинг идет сюда укрыться от дождя.

Рога оленя звякнули, когда он вошел в святилище, звякнули, задев за усмехавшуюся статую Кали. Он наклонил их по направлению к Пуруну Бхагату и стал тревожно бить о пол копытами, с шумом пропуская воздух через свои наполовину закрытые ноздри.

– Хай! Хай! Хай! – сказал Бхагат, пощелкивая пальцами. – Так-то ты благодаришь меня за ночной приют?

Но олень теснил его к двери; вдруг Пурун Бхагат услышал какой-то звук, похожий на вздох. Он взглянул по направлению звука; две плиты пола раздвинулись, а липкая земля под ними чмокнула.

– Понимаю, – сказал Пурун Бхагат, – и не порицаю моих братьев за то, что они сегодня не пришли к моему очагу. Гора рушится. А между тем зачем мне уходить? – Глаза Бхагата заметили пустую нищенскую чашу, и выражение его лица изменилось. – Они приносили мне пищу каждый день с тех пор… с тех пор, как я пришел сюда, и, если я не потороплюсь, завтра в долине не останется ни души. Поистине я должен спуститься и предупредить их. Отодвинься, брат! Пусти меня к очагу.

Пурун Бхагат опустил в пламя факел, вращая его, пока он не загорелся. Баразинг неохотно отступил.

– Ага, вы пришли, чтобы предупредить меня, – выпрямляясь, сказал Пурун Бхагат, – но мы сделаем еще больше, еще больше! Идем, дай мне твою шею, брат, потому что у меня только две ноги.

Правой рукой Пурун обнял шершавую шею баразинга, вытянул левую, взял факел и вышел из маленького храма навстречу ужасной ночи. Не чувствовалось ни малейшего дуновения ветерка, но дождь чуть не залил пылающий факел, когда большой олень стал поспешно спускаться с откоса, скользя на задних ногах. Вот они вышли из леса, теперь и другие друзья Бхагата присоединились к ним. Он не мог видеть лангуров, но слышал, что они теснились вокруг; позади же раздавались «ух-ух» медведя Соны. Длинные белые волосы Бхагата слиплись от дождя и висели, точно веревки; вода брызгала из-под его босых ног, а желтая одежда пристала к хрупкому старому телу отшельника, но он, не останавливаясь, спускался с горы. Теперь это не был больше святой, отшельник; в нем ожил сэр Пурун Дасс, первый министр немаловажного государства, человек, привыкший повелевать; и он шел спасать жизнь. По крутой скользкой тропинке они двигались все вместе, Бхагат и его братья, они шли все ниже и ниже, наконец копыта оленя споткнулись о стенку молотильной площадки, и он фыркнул, почуяв человека. Они остановились в начале кривой деревенской улицы, и Бхагат постучал своим посохом в забранные решеткой окна дома кузнеца, его факел осветил крышу.

– Вставайте и выходите из дома, – закричал Пурун Бхагат и сам не узнал собственного голоса, потому что прошло много лет с тех пор, как он громко разговаривал с человеком. – Гора рушится! Гора падает! Вставайте, выходите на

улицу, о вы, спящие внутри!

– Это наш Бхагат, – сказала жена кузнеца. – Он стоит со своими зверями. Возьми малюток и сзывай народ.

Весть побежала из дома в дом; дикие животные, сгрудившиеся в узком переулке, жались к Бхагату; Сона нетерпеливо отдувался.

Народ высыпал на улицу, в деревне было не более семидесяти душ. При свете факелов поселяне увидели своего Бхагата, который стоял, положив руку на спину дрожащего баразинга, в то время как обезьяны жалобно тянули его за одежду, а Сона, осев на задние лапы, громко ревел.

– Бегите через долину и поднимитесь на первую же гору, на той стороне, – приказал Пурун Бхагат. – Никого не оставляйте здесь! Мы идем за вами.

И поселяне побежали, как умеют бегать только одни горцы. Каждый знал, что при оползании почвы необходимо взобраться как можно выше на откос горы с противоположной стороны долины. Они с плеском пробежали через маленькую реку; задыхаясь, стали подниматься по террасам полей на отдаленной окраине долины. Бхагат и его братья шли за ними. Выше и выше поднимались деревенские жители на противоположную гору и звали друг друга по именам, это была перекличка, а по их пятам с трудом двигался большой баразинг, отягченный весом тела отшельника, сила которого убывала. Наконец олень остановился под ветвями густых сосен на высоте пятисот футов от подножия горы. Инстинкт, который

предупредил его о приближающемся оползании горы, теперь сказал, что в этом месте он в безопасности.

Пурун Бхагат, теряя сознание, опустился рядом с оленем; холодный дождь и трудный подъем убивали его; тем не менее он закричал по направлению рассеянных факелов:

– Остановитесь и пересчитайте, все ли здесь!

Увидав же, что огни собрались вместе, он шепнул оленю:

– Останься со мною, брат. Останься до… конца.

В воздухе пронесся вздох, превратился в ропот, ропот сделался ревом; рев усилился и стал могучим звуком, по силе превосходившим все доступное для слуха; горный откос, на котором стояли беглецы, погрузился в темноту и дрогнул. Потом низкий ровный звук, словно гул органной трубы, минут на пять поглотил остальные шумы, и каждый древесный ствол задрожал. Гул этот замер, звук дождя, падавшего на многие мили каменистой почвы и покрытое травой пространство, изменился, теперь капли глухо барабанили по рыхлой земле. Это пояснило все.

Беглецы молчали, даже жрец не осмелился заговорить с Бхагатом, который спас их. Поселяне скорчились под соснами и не двигались до рассвета; когда же наступил день – взглянули через долину и увидели, что там, где был лес, террасы полей и прорезанные тропинками луга, появилось одно красное веерообразное пятно и на краю его несколько деревьев лежало вверх корнями.

Эта краснота поднималась высоко на гору, служившую

для них пристанищем; она запрудила речку, которая начала разливаться, образуя озеро кирпичного цвета. От деревни, от дороги к маленькому храму, от самого святилища и леса позади него не осталось ни следа. Часть горы шириной в милю и в две тысячи футов глубиной свалилась, как отрезанная сверху донизу.

Беглецы один за другим шли через лес помолиться перед своим Бхагатом. Над ним стоял баразинг, но, когда люди приблизились, олень убежал; в ветвях жалобно выли лангуры, где-то на горе стонал Сона, Бхагат, мертвый, сидел, скрестив ноги, прислонясь спиной к дереву, с посохом под мышкой и обратив лицо к северо-востоку. Жрец сказал:

– Созерцайте чудо после чуда, потому что вот именно так должно погребать каждого саньяси. Там, где мы его видим теперь, мы выстроим храм в честь нашего святого.

Еще не окончился год, когда они возвели над телом своего саньяси маленькое святилище из камней и глины. Окрестные жители назвали эту гору – гора Бхагата. Люди до сих пор приходят молиться в храм Бхагата и приносят с собой свечи, цветы и другие дары. Но никто из них не знает, что их святой – сэр Пурун Дасс – Р.К.И.И.; Д.Л.; Д.Ф. и так далее, бывший первый министр прогрессивного и просвещенного государства Мохинивала, бывший почетный член и член-корреспондент гораздо большего количества ученых обществ, чем это может принести пользу кому бы то ни было в нынешнем и в будущем мире.

Могильщики

– Уважайте старых! – прозвучал из тины низкий голос, который заставил бы вас вздрогнуть, голос, напоминавший что-то мягкое, распадающееся на части. В нем были дрожь, хрип и визг.

– Почтение к старшим! О речные товарищи, почитайте старших!

На всем широком пространстве реки не виднелось ничего, кроме небольшой флотилии барэ, сколоченных деревянными гвоздями, с квадратными парусами и нагруженных строительным камнем. Они только что вышли из-под железнодорожного моста и плыли вниз по течению. Люди подняли неуклюжие деревянные рули, чтобы не засесть на песчаных мелях, образовавшихся около опор моста. Когда флотилия прошла, по три баржи рядом, снова зазвучал страшный голос:

– О речные брамины, уважайте старого и больного!

Один из сидевших на барже обернулся, поднял руку, произнес что-то, только не благословение, и баржи заскрипели дальше, уходя в туманный сумрак. Широкая река, скорее походившая на цепь небольших озер, нежели на поток, была неподвижна, точно зеркало; в ее главном русле отражалось красное, как песок, небо; близ низких берегов и под ними виднелись желтые и мутно-лиловые пятна. В период дождей

небольшие ручьи вливались в эту реку; теперь же их высохшие устья висели выше линии воды. На левом берегу, почти под самым железнодорожным мостом, приютилась деревня, вся состоявшая из глины, кирпичей и плетенок; ее главная улица, по которой домашний скот возвращался теперь в свои хлева, бежала к реке и заканчивалась кирпичной платформой, куда приходили люди, которым надо было стирать и мыться. Селение называлось Меггер Гаут.

Ночь быстро опускалась на поля, засеянные чечевицей, рисом и хлопком, расстилавшиеся в низине, ежегодно заливаемой рекой, на камыши, окаймлявшие окраину излучины, на пастбища, примыкавшие к тихим камышам. Еще недавно попугаи и вороны цокали и кричали, прилетев на вечерний водопой, но в этот час они уже удалились от реки на ночлег и встречали целые батальоны летучих мышей, которые называются летучими лисицами; одна туча водяных птиц за другой со свистом и гоготаньем стремилась под прикрытие бамбуков. Тут были гуси с вытянутыми, как бочонки, головами и черными спинами, чайки; там и сям мелькали фламинго.

Неуклюжий Адъютант (марабу) держался в тылу стаи и летел так лениво, точно каждый взмах его крыльев был последним.

– Уважайте старших! Брамины реки, уважайте старших!

Марабу слегка повернул голову, несколько раз ударил крыльями, пролетел в сторону голоса и тяжело опустился на песчаную мель ниже моста. Глядя на него, можно было по-

нять, что это за мошенник. Со спины он казался неописуемо почтенным существом; он имел почти шесть футов в вышину и походил на приличную лысую особу. Спереди же оказывалось другое. На его голове и шее не сидело ни одного перышка, а ниже клюва висел безобразный мешок из красноватой кожи – хранилище всего, что он мог схватить своим острым клювом. Птица стояла на очень длинных, тонких, морщинистых ногах, но аккуратно переступала ими и с гордостью посматривала на них через плечо, когда чистила свои пепельно-серые хвостовые перья; потом Адъютант замирал, вытягиваясь, как солдат на карауле.

Маленький худой шакал, лаявший от голода, стоя на пригорке, внезапно навострил уши, поднял хвост и пустился рысью к Адъютанту.

Это был самый ничтожный из шакалов (нельзя сказать, что и лучшие-то его родичи хороши, но этот был особенно ничтожен, так как занимал среднее место между нищим и преступником). Он очищал мусорные кучи; то бывал до отчаяния пуглив, то свирепо отважен; вечно испытывал голод и вечно же хитрил, хотя все его уловки не приносили ему никакой пользы.

– Ух, – уныло отряхиваясь, сказал он. – Пусть красная парша уничтожит всех деревенских собак. Каждая укусила меня три раза, а за что? За то, что я посмотрел – заметьте, посмотрел – на старый башмак в коровьем хлеву. Разве я могу есть грязь? – И он почесал у себя за левым ухом.

– Я слышал, – заметил Адъютант голосом, напоминавшим звук тупой пилы по толстой доске, – я слышал, что в этом самом башмаке лежал новорожденный щенок.

– Одно дело слышать, другое знать, – заметил шакал, отлично знавший пословицы благодаря вечному подслушиванию разговоров людей.

– Правда. Поэтому я для верности позаботился о щенке, пока собаки были заняты в другом месте.

– Да, они были очень заняты, – сказал шакал. – Теперь я некоторое время не буду забегать в деревню за объедками. Значит, в этом башмаке действительно был слепой щенок?

– Он здесь, – ответил Адъютант, косясь через свой клюв на собственный полный зоб. – Это пустяк, но, когда милосердие умерло в мире, такими вещами не следует пренебрегать.

– Аи, аи! Да, в наши дни мир – сущее железо, – провизжал шакал. В ту же минуту его беспокойные глаза уловили крошечную рябь на поверхности воды, и он торопливо продолжал: – Тяжела жизнь для всех нас, и я не сомневаюсь, что даже наш высокий господин, гордость Гаута и зависть реки…

– Лгун, льстец и шакал вывелись из одного яйца, – сказал марабу, не обращаясь ни к кому в особенности; дело в том, что он тоже в случае нужды умел отлично солгать.

– Да, да, зависть реки… Даже он, – громче прежнего повторил шакал, – даже он не может не находить, что со времени постройки моста пищи стало меньше. С другой стороны,

он одарен такой мудростью и такими добродетелями (которых я, к несчастью, совершенно лишен), что…

– Уж если шакал называет себя серым, он, должно быть, невыразимо черен, – пробормотал Адъютант. Птица не видала приближавшегося к берегу существа.

– …что у него, конечно, никогда не бывает недостатка в пище и, следовательно…

Песок слегка скрипнул, точно дно лодки дотронулось до мели. Шакал быстро повернулся и обратился мордой (это всегда благоразумнее) к тому, о ком он только что говорил. Подплыл двадцатичетырехфутовый крокодил. Все его тело одевали как бы пласты котельного чугуна, а на спине стоял гребень; желтоватые кончики его верхних зубов висели над великолепно вытянутой нижней челюстью. Это был тупоносый Меггер из Меггера Гаута; он прожил дольше той деревни, которую назвали по его имени. До постройки железнодорожного моста крокодила считали демоном речного брода – он убивал входивших в воду людей; вместе с тем он же был и фетишем селения. Теперь Меггер лежал неподвижно, опустив подбородок в мелкую воду, и чуть-чуть шевелил хвостом, чтобы удержаться на месте, но шакал отлично помнил, что один удар этого могучего хвоста может перенести чудовище на берег со скоростью парохода.

– Счастливая встреча! Покровитель бедных! – льстиво приветствовал его шакал, в то же время отступая при каждом слове. – В воздухе звучал восхитительный голос, и мы…

мы пришли, надеясь насладиться приятным разговором. Я ждал тебя и осмелился рассуждать о тебе. Надеюсь, ты ничего не слышал?

Между тем шакал, конечно, говорил в надежде, что крокодил услышит его слова; он знал, что лесть – лучшее средство получить от него кусок съестного. В то же время и Меггер понимал, что шакал говорил с известной целью; шакалу же было ясно, что Меггер понимает все и знает, что он, шакал, знает, что Меггер знает; таким образом, оба были довольны друг другом.

Задыхаясь и ворча, чудовище двигалось вдоль берега, оно бормотало:

– Уважайте старых и недужных.

Его маленькие глаза, сидевшие под тяжелыми роговыми веками на верхушке плоской треугольной головы, горели, как угли, пока из воды выходило его бочонкообразное тело, висевшее между искривленными ногами. Наконец крокодил залег близ отмели, и, как ни были знакомы шакалу его обычаи, трусливый зверь невольно вздрогнул, увидев, до чего Меггер сделался похож на прибитое к песку бревно. Крокодил даже постарался поместиться под тем углом, под которым лежал бы естественно остановившийся обрубок. Понятно, все это было сделано по привычке, потому что Меггер вышел на мель не ради охоты, а для удовольствия; но крокодил никогда не бывает вполне сыт, и, если бы сходство с бревном обмануло шакала, трус не мог бы рассуждать об

этом, так как не остался бы в живых.

– Дитя мое, я ничего не слышал, – закрывая один глаз, сказал Меггер. – Вода попала мне в уши; кроме того, я совсем ослабел от голода. Со времени постройки железнодорожного моста народ, населяющий мою деревню, разлюбил меня, и сердце мое разбивается от этого.

– Какой позор! – произнес шакал. – Такое благородное сердце! Но люди все одинаковы.

– Нет, между ними существует различие, – мягко сказал Меггер. – Одни худы и сухи, как барочные шесты. Другие жирны, как молодые шак… собаки. Я никогда не соглашусь беспричинно унижать людей. Они разнообразны, и многолетний опыт доказывает, что все они, мужчины, женщины и дети, достаточно хороши; я не вижу в них ничего дурного. Помни же, дитя, тот, кто осуждает, бывает осужден.

– Конечно, лесть хуже попавшей в желудок пустой жестянки, но мы сейчас слышали поистине мудрые слова, – заметил Адъютант, опуская свою поджатую ногу.

– Но подумай о людской неблагодарности относительно такого высокого существа! – слащаво начал шакал.

– Нет, нет, это не неблагодарность, – возразил Меггер. – Они просто не думают о других, вот и все. Лежа на моем всегдашнем месте около брода, я раздумывал, как для стариков и для детей неудобны лестницы на новый мост. О стариках, понятно, нечего особенно много думать, но меня поистине печалят толстые, жирные дети. Тем не менее я пола-

гаю, что мост скоро потеряет для них прелесть новизны, что коричневые ноги моего народа станут снова храбро переходить реку вброд, как в былое время, и старый Меггер будет получать свое.

– Но сегодня по реке плыли гирлянды ноготков, – заметил Адъютант.

В Индии гирлянды ноготков – символ почтения.

– Ошибка, большая ошибка. Это жена продавца сладкого мяса… Год от году ее зрение ослабевает, и она не в силах отличить бревна от меня, Меггера Гаута; сделай она еще шаг, я показал бы ей некоторое различие между мной и чурбаном. Все же у нее были хорошие намерения, а нам следует обращать внимание на духовную сторону приношений.

– Какой толк в гирляндах ноготков для того, кто лежит на куче мусора? – спросил шакал.

Он усердно ловил блох, в то же время поглядывая на своего «покровителя бедных».

– Правда! Но люди еще не начали устраивать мусорной ямы, в которую попаду я. На моих глазах река пять раз отступала от селения, прибавляя земли к концу улицы. Пять раз видел я, как жители возводили новые строения на берегах, и еще пять раз увижу повторение этого. Я – не потерявший веру, охотящийся за рыбами Гавиаль (порода крокодилов); я не бываю то в Кази, то в Прейаге, как говорит поговорка, я верный и постоянный страж этого брода. Недаром, дитя мое, селение носит мое имя. А как говорит пословица: «Тот, кто

долго сторожит, наконец получает награду».

– Я ждал долго, очень долго, чуть не всю жизнь, а в награду меня только кусали или били, – заметил шакал.

– Ха, ха, ха! – захохотал Адъютант и затем пропел: – В августе был рожден шакал, дожди выпали в сентябре. «Никогда еще не видывал я подобных ливней», – сказал этот шакал.

У Адъютанта есть одна очень неприятная особенность. Через неопределенные промежутки времени у него начинаются острые припадки судорог, и, хотя с виду Адъютант гораздо добродетельнее остальных своих родичей, которые все необыкновенно почтенны, во время приступов этого недуга он принимается дико выплясывать какой-то странный военный танец и, слегка распуская крылья, то поднимает, то наклоняет свою лысую голову; по причинам, хорошо известным ему самому, самые худшие припадки странной болезни всегда совпадают с его злыми замечаниями. При последнем слове пропетой песенки он снова замер, как бы вытянувшись на часах, и сделался в десять раз более похож на адъютанта, нежели прежде.

Шакал не прореагировал; ему уже минуло три года, но нельзя же сердиться на оскорбление, нанесенное особой с клювом в ярд длиной и сильным, как дротик. Адъютант славился своей трусостью; шакал же был еще трусливее.

– Нужно прожить долго, чтобы получить запас знаний, – заметил Меггер. – И следует заметить: маленькие шакалы –

явление обычное, дитя мое, но такой Меггер, как я, встречается нечасто. При всем том я не возгордился, потому что гордец скоро погибает; однако заметь: все дело в судьбе, и свою судьбу не может изменить никто, плавающий ли, ходящий ли, бегающий ли на четырех ногах. Я лично доволен своей судьбой. При удаче, обладая острым зрением и привычкой замечать, есть ли выход из ручья или заводи, можно сделать многое.

– А мне рассказывали, что даже «покровитель бедных» однажды поступил неосмотрительно, – язвительно заметил шакал.

– Правда, но в этом случае мне помогла судьба. Происшествие, о котором ты говоришь, случилось, когда я еще не достиг полного роста. Клянусь правым и левым берегом Ганга, чем-чем только не кишели потоки в те времена!.. Да, я был молод и неосмотрителен. Вот началось наводнение, кто же радовался тогда больше меня? В дни молодости всякий пустяк веселил мое сердце.

Наводнение залило деревню. Я проплыл далеко, до самых рисовых полей; их покрывал густой слой ила. Помню я также пару браслетов (их украшало стекло, и они сильно смутили меня), которые я нашел в этот вечер. Да, браслеты и, если память мне не изменяет, там также был башмак. Мне следовало снять оба башмака, но я был голоден. Позже я научился поступать иначе. Да. Итак, я после прилег отдохнуть; когда же собрался снова вернуться в реку, вода сошла, и я двинул-

ся по илу главной улицы. Кто решился бы на это, кроме меня? Из домов высыпал весь мой народ: жрецы, женщины, дети, и я милостиво посматривал на них. В иле биться неудобно. Вот один лодочник закричал:

«Несите топоры, убьем его; ведь это Меггер брода!» – «Нет, – ответил брамин. – Смотрите, он гонит перед собой воду. Он божество нашего селения».

Тогда мой народ засыпал меня цветами, и у кого-то из них явилась счастливая мысль положить на дорогу козу.

– Как вкусна, как вкусна коза! – сказал шакал.

– На ней шерсть, слишком много шерсти; когда же ее найдешь в воде, в ней почти наверняка скрывается крестообразный крюк. Но ту козу я принял и с почестью вернулся в реку. Позже судьба послала мне лодочника, желавшего разрубить топором мой хвост. Его лодка села на старинную мель, которой вы, конечно, не помните.

– Не все мы здесь шакалы, – заметил Адъютант. – Не говоришь ли ты о той мели, которая образовалась, когда в реке потонули барки с каменьями в год великой засухи? Про ту продолговатую мель, которая уцелела в течение трех разливов?

– Их было две, – ответил Меггер, – верхняя и нижняя.

– Да, я забыл. Мели разделял проток, позже он высох, – сказал Адъютант, гордившийся своей хорошей памятью.

– Вот на нижней-то и засела лодка моего доброжелателя. Он спал, в полусне перескочил через борт и вошел в воду по

пояс – нет, только по колено, – чтобы столкнуть ее с мели. Пустая лодка двинулась, но снова села на следующий перекат. Я крался за человеком, зная, что скоро придут другие люди, чтобы вытащить лодку на берег.

– И они действительно пришли? – с оттенком страха спросил шакал. Такая охота внушала ему уважение.

– Пришли и в это место и ниже по течению. Я получил троих в один день, всех хорошо откормленных менджисов (лодочников), и ни один из них не закричал, кроме последнего. (В этом случае я действовал небрежно!)

– Ах, что за благородная охота! Но какой ловкости, какого ума требует она! – произнес шакал.

– Требуется не ум, дитя, а только умение мыслить. Обдуманность в жизни то же, что соль, положенная в рис, как говорят лодочники, а я всегда много думал. Мой родственник, Гавиаль, поедатель рыбы, рассказывал мне, до чего ему трудно охотиться; как сильно один род его добычи отличается от другого; вследствие этого он должен узнавать обычаи каждой рыбы. Вот это мудрость. С другой стороны, Гавиаль живет среди своей дичи. Моя добыча не плавает стаями, выставляя пасти из воды, как делает его рева, не всплывает на поверхность воды и не поворачивается боком, как моху или маленькая чапта, не толпится подле мелей, как батчуа или чильва.

– Все эти рыбы очень хороши на вкус, – заметил Адъютант, щелкая клювом.

– То же говорит и мой двоюродный брат, Гавиаль; они постоянно охотится за ними; но ему хорошо; они не выходят на берег, чтобы спастись от его острого носа. Моя дичь совсем другое дело. Люди живут на земле, в домах, среди скота. Мне всегда нужно узнавать, что они делают, что собираются сделать, и, как говорится, «прибавляя хвост к хоботу, я составляю целого слона». Я все наблюдаю, все примечаю. Если над дверью повесили зеленую ветвь и железное кольцо, старый Меггер понимает, что в этом доме родился мальчик и что со временем он прибежит играть на помост. Выходит замуж девушка, старый Меггер узнает и это, видя, как мужчины расхаживают по деревне с подарками в руках. Перед свадьбой невеста приходит купаться, и старый Меггер тут как тут. Изменила ли река свое русло, обнажив землю там, где раньше была только вода, Меггеру это тоже известно.

– Но к чему ведут такие знания? – спросил шакал. – Даже в течение моей короткой жизни река уже несколько раз изменяла русло. Реки Индии почти постоянно передвигаются в своих ложах, иногда в течение четверти года они отходят от прежнего русла на две или три мили, заливая поля на одном берегу, на другом же открывая большое пространство суши!

– Это самые полезные знания, – возразил Меггер шакалу, – появление новой земли ведет за собой ссоры. Это Меггер знает, ого, хорошо знает! Едва вода сойдет, он крадется вдоль одного из маленьких ручьев, в которых, по мнению людей, не могла бы скрыться и собака, и ждет там. Вот при-

ходит фермер и говорит, что в этом месте он посадит огурцы, а в том – дыни, и все – на участке земли, только что подаренном ему рекой. Пальцами своих обнаженных ног он пробует ил. Приходит другой земледелец и объявляет, что посадит лук, морковь и сахарный тростник в этом месте. Они встречаются, как лодки, которые несет течение, и оба принимаются вращать глазами, сверкающими из-под их больших синих тюрбанов. А старый Меггер смотрит и слушает. Люди говорят друг другу «брат мой» и начинают делить новую землю. Меггер передвигается вместе с ними с места на место и крадется, совсем прижимаясь к илу и тине. Разгорается ссора. Слышатся запальчивые слова. Они сбрасывают со своих голов тюрбаны, поднимают лати (палки), наконец один падает в ил, другой убегает. Когда он возвращается, дело сделано, ему об этом говорит окованный железом ствол бамбука. Все устроил Меггер, но никто ему не благодарен. Нет, люди кричат: «Убийца Меггер». Потом семьи двоих крестьян принимаются драться между собой; двадцать человек с одной стороны, двадцать с другой. Мой народ, живущий на взгорьях, народ хороший. Они дерутся не для забавы, а старый Меггер ждет ниже по течению реки, там, где его не могут видеть за кустами кикара. Загорается заря, мои широкоплечие джетсы (всего человек восемь-десять) на носилках несут мертвого; звезды светят. Идут все старики с длинными бородами и кричат не хуже меня. Люди разводят небольшой костер (ах, как хорошо я знаю этот костер), курят табак, покачива-

ют головами или указывают макушками в сторону мертвого, который лежит на берегу. Они говорят, что из-за этого к ним явится английский суд и что семья такого-то человека будет опозорена, потому что его повесят на большой тюремной площади. Друзья убитого замечают: «Пусть его повесят!» Разговор начинается сызнова. Это повторяется дважды, трижды, двадцать раз в течение долгой ночи. Наконец кто-нибудь произносит: «Этот бой был бой честный. Возьмем плату за кровь, немного больше, чем предлагает убивший, и перестанем толковать». Начинается спор из-за цены крови, потому что убитый был сильный человек и оставил после себя много сыновей. А все-таки еще до амратвелы (восхода солнца) они слегка обжигают мертвого, как того требует обычай, и он поступает в мое распоряжение. Он молчит… Ага, дети, Меггер знает! Меггер все хорошо знает, и мои джетсы – славный народ.

– Они слишком жадны, слишком скупы, – произнес Адъютант. – Они не бросают даже верхние пленки с коровьего рога, как говорится; кто же может что-нибудь подобрать после этого племени?

– О, я подбираю… их самих, – заметил Меггер.

– Вот в старые времена на юге, в Калькутте, – продолжал Адъютант, – все выбрасывалось на улицу; мы выбирали, что подобрать. Славные были дни! Теперь же их улицы чисты, как внешняя сторона яичной скорлупы, и мои родичи улетают. Быть опрятным – одно, но вытирать пыль, мести, чистить

по семи раз в день утомительно, это надоело бы самим богам.

– Один шакал с низин слышал от своего брата и сказал мне, что на юге, в Калькутте, шакалы так же толсты, как выдры во время дождей, – заметил шакал, у которого потекли слюнки при одной мысли об этом.

– Да, но там живут белолицые англичане, они приводят с собою собак, больших, толстых собак, чтобы эти самые шакалы не толстели, – возразил Адъютант.

– Значит, они такие же жестокие люди, как здешние жители? Так и следовало думать. Ни земля, ни небо, ни вода не оказывают милости шакалу. После дождей я видел палатки белолицых, утащил из них новую желтую узду и съел ее. Белолицые плохо выделывают кожу: я заболел.

– То ли еще было со мной! – заметил Адъютант. – Когда мне шел третий год, я, в те времена молодая и отважная птица, отправился вниз по реке, в то место, куда приходят большие лодки. Лодки англичан втрое больше селения Меггер Гаут.

– Он уверяет, будто был в Дели и будто там все ходят на головах, – пробормотал шакал.

Меггер открыл левый глаз и пристально взглянул на Адъютанта.

– Это правда, – убедительно произнесла большая птица. – Лгун лжет только в надежде, что ему поверят. Не видавший этих лодок не в силах поверить мне.

– Вот это вероятнее, – заметил Меггер. – Ну, а дальше?

– Из этих лодок они вынимали какие-то большие белые куски, которые скоро превращались в воду. Некоторые раскололись и упали на берег; все остальные люди спрятали в дом с очень толстыми стенами. Один лодочник засмеялся, взял белый кусок величиной с небольшую собаку и бросил его в меня. Я… все мое племя глотаем без размышлений; по нашему обыкновению, я проглотил этот кусок и ощутил страшный холод. Он начался с желудка, проник во все мое тело до кончиков пальцев, и я даже потерял голос, а лодочники хохотали надо мной. Никогда в жизни не испытывал я такого холода и от изумления и печали заметался и запрыгал. Наконец мне стало легче, я перевел дух, заплясал снова, жалуясь на коварство мира, лодочники же так хохотали, что попадали на землю. Не говоря уже об этом странном холоде, удивительней всего было то, что, когда я успокоился, мой желудок оказался совершенно пуст.

Адъютант постарался как можно лучше описать, что он испытал, проглотив семифунтовый кусок льда из Венгемского озера с американского корабля; это было в те дни, когда Калькутта еще не изготовляла лед искусственным образом, но марабу не знал, что такое лед, Меггер и шакал знали и того меньше, а потому его рассказ произвел мало впечатления.

– Все возможно, – заметил Меггер, снова прищурив левый глаз. – Все возможно, когда приходит лодка, которая втрое больше моего селения! Ведь Меггер Гаут – деревня немаленькая.

Послышался свист, по мосту пронесся почтовый поезд в Дели; его вагоны ярко светились, их тени бежали по реке. Поезд со звоном исчез в темноте. Меггер и шакал так привыкли к железной дороге, что даже не повернули голов.

– А разве это не так же удивительно, как лодка, которая втрое больше деревни Меггер Гаут? – спросил марабу, глядя вверх.

– Дитя мое, я видел, как строили мост. Я видел, как камень ложился на камень и как мало-помалу воздвигались опоры. Иногда в воду падали люди (они необыкновенно твердо стояли на ногах, но все-таки падали), и я всегда был тут как тут. Пока строили первую опору, рабочим не приходилось смотреть вниз по течению, отыскивая для сожжения тело упавшего. Опять-таки я избавлял их от лишних хлопот. Уверяю тебя, в постройке моста не было ничего странного, – заметил Меггер.

– Но то, что бежит по этому мосту и везет за собой телеги с крышами, – странно, – повторил Адъютант.

– Без всякого сомнения, телеги возят быки новой породы. Когда-нибудь бык не удержится там наверху и упадет, как, бывало, падали люди. И старый Меггер опять будет тут как тут.

Шакал посмотрел на Адъютанта, Адъютант посмотрел на шакала. Эти двое были вполне уверены, что паровоз мог быть чем угодно, только не быком. Из-за рядов алоэ, окаймлявших железнодорожную линию, шакал часто наблюдал за

проходящими поездами. Адъютант же познакомился с машинами, когда по Индии побежал первый паровоз. Но Меггер смотрел на поезда только снизу, и ему казалось, что медный купол на машине похож на горб быка (зебу).

– Н-да, это бык новой породы, – громко повторил Меггер, желая убедить самого себя, что он не ошибается.

– Конечно, – заметил шакал.

– С другой стороны, может быть… – раздражительно начал крокодил.

– Конечно, конечно, – забормотал шакал, не дожидаясь окончания фразы.

– Что? – сердито спросил Меггер, чувствуя, что его собеседники знают что-то, неизвестное ему. – Чем же это может быть? Ведь я же не договорил. Ты сказал, что это бык…

– Это существо окажется тем, чем пожелает «покровитель бедных». Я его раб… Пойми, не раб той вещи, которая перебегает по мосту через реку, а твой…

– Что бы это ни было, «оно» – дело рук белолицых, – заметил Адъютант. – И что касается меня, я не стал бы проводить все свое время на близкой к мосту мели.

– Вы не так хорошо знаете англичан, как я, – заметил Меггер. – Когда мост строили, здесь был белолицый, по вечерам он брал лодку, шаркал ногами по ее дну и шептал: «Здесь он? Здесь он? Дайте мне мое ружье». Я услышал голос англичанина раньше, чем увидел его. До меня доносились все звуки, скрипело ружье, он его продувал и стучал им, двигаясь вверх

и вниз по реке. Я подхватил одного из его рабочих и, таким образом, избавил людей от покупки дров для сожжения тела; а он прибежал на помост и громко закричал, что отыщет меня и освободит от меня реку. Это от меня-то, Меггера, – Меггера Гаута! От меня! Дети, я час за часом, бывало, плыл под его лодкой, слышал, как он стреляет в бревна; раз, узнав, что он утомился, я поднялся рядом с ним и лязгнул челюстями ему в лицо. Мост построили, он уехал. Поверьте – все англичане охотятся таким образом, за исключением тех раз, когда они сами превращаются в дичь.

– Кто же охотится на белолицых? – с волнением провизжал шакал.

– Теперь никто, но в свое время я поохотился за ними.

– Я смутно помню об этой охоте, но в те времена я был еще молод, – многозначительно стуча клювом, заметил Адъютант.

– Я отлично устроился здесь. В то время мою деревню только что отстроили в третий раз. Вдруг является мой двоюродный брат, Гавиаль, и начинает рассказывать о богатых водах выше Бенареса. Сначала я не хотел двигаться с места, так как мой двоюродный брат питается рыбой и не всегда может правильно сказать, что хорошо, что дурно; однако я также услышал, как мои поселяне разговаривали между собой, и их толки заставили меня решиться.

– А что они говорили? – спросил шакал.

– Их толки заставили меня, Меггера из Меггера Гаута,

выйти из воды и пустить в дело свои ноги. Я двигался по ночам и пользовался маленькими ручьями, которые могли служить мне, однако начиналось жаркое время года, и потоки обмелели. Я пересекал пыльные дороги, я полз среди высокой травы, при лунном свете я поднимался на горы. Заметьте, дети, я взбирался даже на скалы! Я перешел через окраину безводного Сиргинда раньше, чем мне удалось натолкнуться на сеть речек, которые текут по направлению к Гангу. В то время я отошел на месяц пути от моих поселян и от хорошо знакомой мне реки. Это было удивительно!

– А чем же ты питался? – спросил шакал, который думал только о желудке, не интересуясь рассказом Меггера о его сухопутных странствиях.

– Всем, что находил на пути, кузен, – медленно растягивая слова, выговорил Меггер.

В Индии вы не можете никого назвать своим двоюродным братом, если не умеете ясно доказать вашего кровного родства с ним, а так как только в старинных сказках крокодилы женятся на шакалах, наш шакал понял, почему Меггер включил его в круг своих родственников. Будь они вдвоем, это не смутило бы его, но Адъютант услышал жестокую шутку, и в глазах хитрой птицы замерцал насмешливый огонек.

– Конечно, отец мой, я должен был сам понять это, – заметил шакал.

Крупный крокодил не любит, чтобы его называли отцом шакалов, и Меггер из Меггера Гаута высказал свое недоволь-

ство, прибавив кое-что, чего не стоит повторять.

– «Покровитель бедных» первый упомянул о своем родстве со мной. Мог ли я помнить точную степень этого родства? Кроме того, мы питаемся одинаковой пищей. Он сам сказал это, – послышался ответ шакала.

Его замечание еще ухудшило положение вещей; ведь шакал намекнул, что во время сухопутных странствий Меггеру приходилось ежедневно есть свежую, совершенно свежую пищу, вместо того чтобы держать ее несколько времени, пока она не станет годной для еды, как это делает каждый уважающий себя крокодил и большинство диких зверей. Сказав кому-нибудь из обитателей реки: «Ты ешь свежее мясо», – вы нанесете ему оскорбление. Это почти все равно что назвать человека людоедом.

– Пища, о которой идет речь, была съедена тридцать лет тому назад, – спокойно заметил Адъютант, – и, если мы будем говорить о ней еще тридцать лет, она все-таки не вернется. Расскажи же, Меггер, что случилось, когда после твоего изумительного сухопутного путешествия ты достиг хороших вод. Если мы будем слушать вой всякого шакала, то все дела в городе остановятся, как говорят люди.

Вероятно, это замечание понравилось Меггеру, он поспешно продолжал:

– Клянусь правым и левым берегом Ганга, когда я дошел до места, передо мной открылись такие воды, каких я никогда не видывал.

– Неужели они были лучше большого наводнения в прошлом году? – спросил шакал.

– Лучше? Такие наводнения, какое случилось в прошлом году, повторяются через каждые пять лет: несколько утонувших чужестранцев, несколько цыплят да мертвый вол, принесенный водой! Но в том году, о котором я говорю, вода стояла в реке низко, она была вся гладкая, ровная, и, как рассказывал мне Гавиаль, по течению плыло столько мертвых англичан, что они касались друг друга. От Агры до Этаваха и до широких вод близ Аллахабада…

– О, я знаю водоворот под стенами этой крепости! – произнес Адъютант.

– Они неслись туда, как утки к тростникам, и кружились и вертелись вот так.

И он снова пустился в свою ужасную пляску, а шакал с завистью смотрел на него. Понятно, трусливый зверь не помнил года восстания, о котором шла речь. Меггер же продолжал:

– Да, близ Аллахабада приходилось лежать в воде тихо; и я, бывало, пропускал двадцать трупов раньше, чем выбирал то, что было по моему вкусу; главное, мне нравилось, что на англичанах не было напутано драгоценностей, браслетов на руках и щиколотках и колец, как у женщин, живущих в моем селении. Тот, кто любит драгоценности, нередко в конце концов получает вместо ожерелья веревку. В то время все крокодилы окрестных рек растолстели, но судьба

пожелала, чтобы я разжирел сильнее всех остальных. До нас дошли слухи, что англичан загнали в реки, и, клянусь правым и левым берегом Ганга, мы поверили этому. Я шел на юг и думал, что это правдивые вести. Двигался я вниз по течению через Монгир, где над рекой стоят гробницы…

– Знаю, – сказал Адъютант. – Только теперь Монгир – брошенный город. В нем мало жителей…

– Позже я двинулся вверх по течению, медленно, лениво, и немного выше Монгира натолкнулся на лодку, полную белолицыми… живыми. Это были женщины, они лежали под натянутой на четырех шестах тканью и вдруг громко закричали. В те дни никто не стрелял в нас, стражей бродов. Все ружья были заняты в другом месте. День и ночь издали доносился их грохот, он то утихал, то усиливался вместе с порывами ветра. Я высоко высунулся из воды, так как раньше никогда не видывал живых белолицых, хотя отлично знал их в другом виде. Обнаженный белый ребенок стоял на коленях на краю лодки; наклоняясь, он проводил ручками по воде и смотрел на появлявшиеся струйки; прелестно видеть, как ребенок любуется бегущей водой. В этот день я уже хорошо поел, а все-таки в моем желудке оставалась небольшая пустота. И я кинулся на эти детские руки скорее ради забавы, чем из-за голода. Они были так близко, что я даже не взглянул, хватая их. Челюсти мои закрылись над ними, я вполне уверен в этом, ребенок же быстро, без вреда для себя, вытащил их из моей пасти. Они, эти белые ручки, вероятно, проскольз-

нули между зубами Меггера… Мне следовало схватить его за плечо, вкось, однако, повторяю, я только из удовольствия и любопытства вынырнул из воды. Женщины закричали, я снова поднялся, чтобы наблюдать за ними. Тяжелая лодка не могла идти быстро. В ней были только женщины, но доверять женщине – все равно что ступать на водоросли, закрывающие поверхность пруда, как говорит пословица, и, клянусь правым и левым берегом Ганга, эта поговорка справедлива!

– Раз одна женщина дала мне сухую рыбью чешую, – вставил шакал. – Я надеялся украсть ее грудного малютку, но, как говорится, лошадиный корм лучше удара ноги лошади. А что сделала «твоя» женщина?

– Она выстрелила в меня из короткого оружия, какого я никогда не видал ни раньше, ни позже. Сделала пять выстрелов, один за другим. – Вероятно, Меггер говорил о револьвере старого образца. – Я остался с открытым ртом, а мою голову окружал дым. Никогда не видывал я ничего подобного! Пять выстрелов, и так быстро один за другим, как я махаю хвостом, вот так.

Шакал, который все больше и больше увлекался рассказом крокодила, едва успел отскочить, когда огромный хвост чудовища, точно исполинский серп, пролетел мимо него.

– До пятого выстрела, – продолжал Меггер, точно он и не помышлял оглушить одного из своих слушателей, – до пятого выстрела я не погружался в воду, когда же поднялся снова, то услышал, как один из лодочников говорил белым жен-

щинам, что я убит. Одна пуля попала под роговую пластинку на моей шее. Сидит ли она еще там, я не знаю, так как не могу повернуть головы. Подойди сюда, дитя, и взгляни. Это докажет тебе, что я говорил правду.

– Докажет мне? – произнес шакал. – Что ты говоришь! Разве бедное существо, которое поедает старую обувь да сухие кости, смеет усомниться в словах «зависти реки»? Пусть слепые щенки обкусают мой хвост, если тень такой мысли мелькнула в моем почтительном уме! «Покровитель бедных» снизошел до того, что сообщил мне, своему рабу, что раз в жизни женщина ранила его! Этого достаточно, я расскажу о случившемся всем моим детям, не требуя ни малейших доказательств.

– Чрезмерная любезность порой не лучше грубости, потому что, как говорится, гостя можно задушить угощением. Я совсем не желаю, чтобы кто-либо из твоих детей знал, как единственная рана Меггера была нанесена ему женщиной. Твоим детенышам и без того будет о чем подумать, если и им придется добывать себе пропитание таким же жутким способом, как это теперь делает их отец.

– Все давно забыто! Ничего не было сказано, не было белой женщины! Не было лодки! Ничего никогда не случалось.

Шакал махнул своим пушистым хвостом, показывая этим, до чего слова Меггера всецело исчезли из его памяти, потом сел с гордым видом.

– Напротив, случилось многое, – ответил Меггер, снова

побежденный при второй попытке победить своего друга. (Тем не менее ни в одном из них не осталось злопамятства. Есть и служить пищей – речной закон, и, когда Меггер заканчивал обед, шакал являлся, чтобы подобрать остатки его еды.) – Я бросил лодку и двинулся вверх по течению; подле Арраха и выше этого места я уже не находил мертвых англичан. В реке не было ничего. Потом появилось двое-трое мертвых в красных куртках, но это были не англичане, а индусы; скоро они поплыли по пяти и шести рядом; от Арраха же и Агры, казалось, в реке собрались целые селения. Мертвые выплывали из маленьких ручьев, как чурбаны во время дождей. Когда вода в реке начала подниматься, груды молчаливых тел сдвигались с мелей, на которых они лежали. Наводнение уносило их с собой через поля и через джунгли, вода тащила их за длинные волосы. Двигаясь к северу, я ночью слышал выстрелы, днем – стук обутых ног, переходивших реку вброд, а также шум, который производят колеса нагруженных телег по песку под водой. И каждая струя приносила новых мертвых. Наконец мне самому стало страшно. Я сказал: «Если это происходит с людьми, как спасется Меггер из Меггера Гаута?» За мной шли лодки без парусов, они постоянно горели, как иногда горят лодки с хлопчатником, но не тонули.

– А, – сказал Адъютант, – такие лодки приходят в Калькутту, большие, черные, позади них бежит вода, и они…

– Втрое больше моего селения? Нет, мои лодки были

больше, чем лодки, о которых рассказывает «правдивый». Я их боялся, я вышел из воды и направился обратно к моей реке; днем прятался, по ночам шел по земле, если не находил маленьких ручьев, по которым мог плыть. Я вернулся к моему селению, не питая надежды увидать мой народ. Между тем крестьяне по-прежнему пахали землю, сеяли, жали, расхаживали по своим полям так же спокойно, как пасется их скот.

– А в реке была в это время хорошая еда? – спросил шакал.

– Больше пищи, чем я мог желать. Даже я, а ведь я не ем грязи, даже я утомился и, помнится, пугался при виде постоянного появления «молчаливых». Я слышал, как мой народ говорил, что все англичане умерли, тем не менее по течению плыли не англичане, и мой народ это видел. Тогда жители решили, что лучше ничего не говорить, а платить подати и обрабатывать землю. Вскоре река очистилась, мертвые исчезли. Стало не так легко получать еду, но я искренне радовался. Маленькое убийство там и сям – невредная штука, но иногда даже Меггер чувствует пресыщение.

– Изумительно! Поистине изумительно! – заметил шакал. – Я уже потолстел, только слыша о такой прекрасной еде. А можно ли спросить, что делал после этого «покровитель бедных»?

– Я сказал себе и, клянусь правым и левым берегом Ганга, крепко сомкнул челюсти при этом обете, я сказал себе,

что никогда больше не отправлюсь странствовать. С тех пор я зажил близ моего народа и год от года наблюдал за ним. Крестьяне так сильно любили меня, что, едва я поднимал из воды голову, бросали мне венки из ноготков. Да, судьба была ко мне милостива, река тоже добра и с уважением относится к моей бедности и слабости, только…

– В мире нет ни одного существа, счастливого от кончика своего клюва до конца хвостового пера, – сочувственно произнес Адъютант. – Но чего недостает Меггеру из Меггера Гаута?

– Маленького белого ребеночка, который от меня ускользнул, – с глубоким вздохом сказал крокодил. – Он был мал, но я не забыл его. Старость пришла ко мне, а все же перед смертью я желаю попробовать новой пищи. Правда, они народ с тяжелыми ногами; люди шумные, глупые, и это была бы невеселая охота; тем не менее я помню случай выше Бенареса, и, если ребенок жив, он тоже помнит все. Может быть, он разгуливает по берегу неизвестной мне реки и рассказывает, как однажды его руки проскользнули между зубами Меггера из Меггера Гаута. Судьба была всегда милостива ко мне, но во сне меня иногда мучают воспоминания о белом ребенке в лодке. – Крокодил зевнул и сомкнул челюсти. – Теперь я немного отдохну и подумаю. Тише, дети. Уважайте старших.

Он тяжело повернулся и потащился на середину песчаной мели, а шакал и Адъютант отошли под дерево, которое росло подле железнодорожного моста.

– Он прожил приятную и поучительную жизнь, – сказал шакал, оскалил зубы и вопросительно посмотрел на птицу, возвышавшуюся над ним. – И заметь: Меггер даже не подумал сказать мне, в каком месте на берегу он бросил кусок съестного. Между тем я раз сто указывал ему на вкусную дичь, которая купалась в реке. Правду говорят: «Весь мир забывает о шакале и цирюльнике, как только узнает от них все вести». А теперь он заснет. Аррх!

– Как шакал может охотиться с крокодилом? – спокойно спросил Адъютант. – Когда вместе идут вор крупный и вор мелкий, легко предсказать, кому достанется вся добыча.

С нетерпеливым повизгиванием шакал повертелся на одном месте, собираясь свернуться под деревом, как вдруг присел на задние лапы и через низкие ветви посмотрел на мост, бывший почти над его головой.

– Что там еще? – спросил Адъютант и тревожно распустил крылья.

– Погоди, посмотрим. Ветер дует с нашей стороны к ним, но они ищут не нас… Я говорю вон о тех двоих людях.

– Ах, это люди? Меня охраняет моя должность. Вся Индия знает, что я святой. Адъютант – первостатейный мусорщик, и птицам его породы позволяется расхаживать где им угодно.

Итак, наш Адъютант даже не вздрогнул.

– Я не стою удара, меня бьют только старыми башмаками, – сказал шакал и снова прислушался. – Слышишь ша-

ги? – продолжал он. – Двигаются ноги, не босые ноги, это тяжелые шаги белолицых. Слушай еще. Железо! Ружье! Слушай, это тяжелоногие глупые англичане идут, чтобы побеседовать с Меггером.

– Так предупреди же его. Совсем недавно кто-то, вроде умирающего от голода шакала, называл его «покровителем бедных».

– Пусть мой двоюродный брат сам покровительствует своей коже. Он постоянно твердит мне, что белолицых нечего бояться. А это, конечно, белолицые. Ни один житель из Меггера Гаута не осмелился бы охотиться на него. Смотри, я говорил, что это ружье! Теперь при удаче мы с тобой скоро попируем. Вне воды он слышит плохо, и на этот раз выстрелит не женщина.

Ружейное дуло блеснуло в лунном свете. Меггер лежал спокойно, точно своя собственная тень; его передние лапы были расставлены, голова лежала между ними, и он храпел… как храпят крокодилы его породы.

Голос на мосту прошептал:

– Странный выстрел, почти по прямой линии вниз. Но выстрел верный. Лучше всего целиться пониже шеи. Боже, что за чудовище, а между тем, если мы его застрелим, крестьяне будут вне себя. Он божок здешних мест.

– Ничего, – ответил другой голос, – когда строился мост, он унес человек пятнадцать моих лучших рабочих, и пора положить этому конец. Я несколько недель ездил в лод-

ке, чтобы убить его. Приготовьте «мартини» (ружье системы «мартини») и, как только я выпущу в него два выстрела из обоих стволов, стреляйте.

– Так будьте же осторожнее. Два выстрела – не шутка.

– Будь что будет! Стреляю.

Послышался звук, походивший на грохот маленькой пушки.

Крупный тип слоновых ружей мало отличается от некоторых артиллерийских орудий: вырвались две полосы пламени; вслед за тем прозвучал резкий треск «мартини», для длинной пули которого броня крокодила непроницаема. Разрывные же пули сделали свое дело. Одна из них ударила Меггера как раз ниже шеи, влево от хребта, другая разорвалась подле основания его хвоста. В девяносто девяти случаях из ста смертельно раненный крокодил все же уходит в глубину воды, но Меггер был буквально разбит на три части. Он едва двинул головой, как жизнь уже оставила его. Он замер, как и лежащий на песке шакал.

– Гром и молния! Молния и гром! – сказал жалкий маленький зверь. – Не упала ли наконец та вещь, которая тянет за собой закрытые телеги?

– Это только ружье, – ответил Адъютант, хотя даже его хвостовые перья дрожали. – Это только ружье! Он, конечно, умер. Вот идут бледнолицые.

Англичане быстро сбежали с моста и, подойдя к крокодилу, остановились, разглядывая его. Скоро подошел и тузе-

мец, топором отрубил громадную голову Меггера, и четверо индусов потащили его по отмели.

– Однажды моя рука была в пасти вот такого крокодила, – заметил один из англичан, тот самый, который строил мост, – тогда я, еще ребенок лет пяти, плыл в лодке к Монгиру. Я был, что называется, «ребенок возмущения»… В лодке сидела и моя бедная матушка, позже она часто рассказывала мне, как выстрелила из старого пистолета моего отца в голову чудовища.

– Ну, теперь вы отомстили главе клана, даже в том случае, если от толчка ружейного приклада у вас из носу пошла кровь. Эй вы, лодочники! Вытащите голову на берег, мы сварим ее, чтобы получить хороший череп. Кожу не стоит сохранять, она слишком испорчена. Теперь пойдемте спать. Не правда ли, ради этого стоило сторожить всю ночь?

Странная вещь: спустя три минуты после ухода людей шакал и Адъютант повторили это замечание.

Квикверн

– Он открыл глаза, смотри.

– Положи его обратно в мех. Это будет сильная собака. Когда ему пойдет четвертый месяц, мы его назовем.

– В чью же честь? – спросила Аморак.

Кадлу окинул взглядом завешанную кожами комнату снежного дома, потом его глаза остановились на лице четырнадцатилетнего Котуко, который, сидя на своей скамье-кровати, вырезал из моржового бивня что-то вроде пуговицы.

– Назови его в мою честь, – сказал Котуко и улыбнулся. – Он когда-нибудь понадобится мне.

Кадлу ответил сыну усмешкой, да такой широкой, что его глаза почти совершенно скрылись за поднявшимися толстыми плоскими щеками, и он кивнул головой Аморак.

Между тем ожесточенная мать щенка с визгом старалась подняться и взглянуть на своего детеныша, а он, недоступный для нее, барахтался в сумочке из тюленьей кожи, которую подогревала стоявшая под нею лампа.

Котуко продолжал заниматься резьбой; Кадлу бросил свернутую кожаную собачью сбрую во вторую крошечную комнату, устроенную рядом с первой; спустил с себя тяжелое платье из оленьей кожи; положил его в сеть из китового уса, которая висела над другой лампой; сел на скамью, взяв для утоления первого голода кусок мороженого тюленьего сала

в ожидании, чтобы Аморак, его жена, принесла ему настоящий обед, то есть вареное мясо и кровяной суп. На заре этого дня он вышел из дому, отправился за восемь миль к тюленьим отдушинам и вернулся с тремя убитыми крупными тюленями. На половине длинного, прорытого в снегу хода или туннеля, тянувшегося ко входу в дом, вы могли бы услышать лязг зубов и лай упряжных собак, которые после дневной работы ссорились из-за местечка потеплее.

Когда лай звучал слишком громко, Котуко лениво поднимался со скамьи, брал бич с восемнадцатидюймовой ручкой из упругого китового уса и с двадцатипятифутовым толстым плетеным ремнем. Он нырял в туннель, и оттуда доносился такой звук, точно все собаки съедали его заживо; в действительности же это был их обычный гимн перед едой. Когда мальчик выползал из другого конца туннеля, шесть пушистых голов следили, как он подходил к чему-то вроде виселиц, устроенных из китовых челюстей, с которых свешивалось мясо для собак; Котуко широким наконечником копья разделял замерзшее мясо на большие куски, потом останавливался, держа в одной руке кнут, а в другой собачий корм. Он звал каждую собаку по имени, сперва самых слабых, и горе той, которая выходила вперед раньше очереди: точно ременная молния несся кнут и, падая на животное, вырывал из его тела шерсть и кусок кожи. Получив свою долю, каждый пес, ворча и скаля зубы, убегал в туннель, а мальчик, стоя на снегу, облитый ослепительным светом северно-

го сияния, продолжал раздачу корма. Большой черный вожак упряжных собак, который держал в повиновении стаю, получал свою долю позже всех. Ему Котуко давал двойную порцию мяса и лишний раз щелкал бичом над его головой.

– А, – сказал Котуко, свертывая кнут. – Там над лампой у меня есть маленький, который будет сильно выть. Сарпок, назад!

Он вернулся в дом, палочкой из китового уса, которую Аморак всегда вешала подле двери, стряхнув со своей меховой одежды сухой снег, поколотил рукой по крыше дома, обитой по краям кожей, чтобы сбить с нее ледяные сосульки, вероятно, свалившиеся со снежного купола вверху, и снова улегся на скамье, заменявшей ему кровать. Собаки в проходе то храпели, то визжали во сне; маленький щенок в глубоком меховом капюшоне Аморак шевелился, вздыхал и ворчал, его мать лежала подле Котуко, не отводя глаз от кулька из тюленьей кожи, висевшего в тепле и безопасности над широким желтым пламенем лампы.

Все это происходило далеко на севере, за Лабрадором, за Гудзоновым проливом, в который огромные волны приносят груды льда, севернее полуострова Мельвиль, даже севернее узких проливов Фурия и Гекла, на северной окраине Баффиновой земли, там, где остров Байлот громоздится надо льдами Ланкастерского пролива, напоминая своей формой опрокинутую чашку для пудинга. Об области севернее Ланкастерского пролива мы знаем немногое; нам известны толь-

ко Северный Девон и Эльсмирская земля; тем не менее даже на этом Крайнем Севере, так сказать, рядом с полюсом обитают люди.

Кадлу был инуит (как вы называете – эскимос), и все его племя, всего около тридцати человек, было из Тунунирмиута – «страны, лежащей позади всего». И эта суровая область действительно лежит дальше всего в мире. В течение девяти месяцев там только лед и снег; буря налетает за бурей с морозом, невообразимым для того, кто никогда не видывал, как термометр (Фаренгейта) опускается хотя бы до нуля. Шесть месяцев из этих девяти стоит темнота, и в этом заключается самый ужас. В течение трех месяцев лета морозы бывают только через день и каждую ночь, на южных откосах снег начинает таять, а редкие приземистые ивы одеваются пушистыми почками; крошечные поросли на камнях зацветают; берега, покрытые прекрасным гравием и круглыми камешками, выбегают в открытое море, а отполированные валуны и изборожденные скалы поднимаются над рыхлым снегом. Но через несколько недель это заканчивается; суровая зима снова сковывает землю. Весной лед разрывается, сталкивается, сжимается, трескается, разлетается, льдина надвигается на льдину, одна разламывает другую, наконец все смерзается вместе слоем в десять футов толщиной и тянется от земли туда, к глубоким водам.

Зимой Кадлу преследовал тюленей до окраины прибрежного льда и убивал их копьем, когда они поднимались, чтобы

подышать через свои отдушины во льду. Тюленю необходимо жить в открытой воде, где он ловит рыбу, а суровой зимой лед иногда тянется на восемьдесят миль от берега без единой полыньи. Весной Кадлу и его семья отходили от воды на скалистую сушу, ставили там палатки из кож, ловили в силки морских птиц и копьями убивали молодых тюленей, гревшихся на отмелях. Позже они отправлялись южнее, на Баффинову землю, за дикими северными оленями, а также чтобы заготовить ежегодный запас лососей, пойманных в сотнях рек и протоков в глубине страны; в сентябре или октябре они возвращались обратно, на север, ради охоты на мускусного быка и настоящей охоты на тюленей. Это путешествие совершалось на санях, запряженных собаками, причем делалось по двадцати или тридцати миль в день. Иногда передвигались вдоль берега в больших кожаных «женских лодках»; в таких случаях собаки и дети лежали в ногах у гребцов, и, пока эти странные суда скользили от мыса до мыса по стеклянистым, холодным водам, женщины пели свои песни. Все предметы роскоши приходили с юга: сухой лес для санных полозьев, железные крюки для гарпунов, стальные ножи, жестяные котелки, в которых готовить пищу удобнее, чем в старинной каменной посуде, кремни и огнива и даже спички, цветные ленты для украшения женских волос, маленькие дешевые зеркала и красное сукно, которым обшивались нарядные шубки из оленьих шкур. Кадлу продавал южным инуитам спиральные нарваловые рога оттенка сливок

и зубы мускусного быка (они так же ценились, как жемчуг); южные же племена, в свою очередь, предлагали эти предметы китоловам и миссионерам с берегов проливов Эксетерт и Кумбурленд. Таким образом тянулась цепь: котелок, купленный корабельным поваром на базаре в Бхенди, мог окончить свои дни где-нибудь за Полярным кругом, над лампой с тюленьим жиром.

Хороший охотник, Кадлу всегда держал про запас много железных гарпунов, острог, ножей, птичьих стрел и тому подобных охотничьих принадлежностей, которые помогают жить в стране великого холода. Он был главой своего племени, или, как говорилось, «человек, по опыту знавший все». Такое положение не давало ему власти; он имел только одно право: время от времени советовать своим друзьям менять охотничьи области; Котуко же старался пользоваться преимуществами отца и до известной степени, по-инуитски, лениво распоряжался остальными мальчиками, когда они выходили по вечерам поиграть в мяч при свете месяца или петь северному сиянию «Песню ребенка».

Но в четырнадцать лет инуит считает себя взрослым, и Котуко надоело делать силки для диких птиц, главное же – помогать женщинам жевать шкуры тюленей и оленей (ничто иное не придает кожам такой гибкости), занимаясь этим в течение долгого дня, пока мужчины охотились. Ему хотелось вместе с остальными охотниками сидеть в квагги, или «доме песен» (молельне), куда взрослые собирались для совер-

шения таинственных обрядов, где волшебник ангекок пугал их, доводя до восторженного ужаса, где в темноте, когда гасли лампы, на крыше слышался топот ног духа северного оленя, а копье, погруженное в ночную тьму, позже оказывалось окровавленным. Ему хотелось сбрасывать свои тяжелые сапоги в сетку с утомленным видом главы семьи и вместе с зашедшими гостями-охотниками играть по вечерам во что-то вроде рулетки, сделанной из круглой жестянки и гвоздя. Множество желаний было у него, но взрослые смеялись над ним и говорили:

– Погоди, Котуко, тебе надо подготовиться да поучиться. Охота еще далеко не все.

Впрочем, теперь, когда отец подарил ему щенка, жизнь показалась Котуко веселее. Инуит никогда не отдает собаки сыну, если тот вовсе не умеет управлять ездовыми псами: Котуко же был более чем уверен, что в этом смысле он знал все, что надо знать.

Если бы щенок не обладал железным здоровьем, он, конечно, погиб бы от излишнего количества еды и от бесконечного ученья. Котуко сделал для него маленькую сбрую с постромками и гонял его по полу, крича: «Ауа! Иа! Иа ауа! (Направо!) Чойачой! Иа чойачой! (Иди направо!) Охаха! (Стой!)» Все это совсем не нравилось щенку, но такие упражнения показались ему чистой радостью в сравнении с тем, что он испытал, когда его впервые впрягли в настоящие сани. Он сел на снег и стал играть с постромкой из тюленьей

кожи, которая бежала от его сбруи к питу, то есть к одной из огромных ременных петель по обеим сторонам санок. Собаки двинулись; тяжелые десятифутовые сани накатились на спину щенка и потащили его по снегу. Котуко-мальчик смеялся так, что слезы побежали по его лицу. Потом начался ряд ужасных дней: жестокий кнут, шипящий, как ветер надо льдом, падал на щенка; товарищи кусали его за то, что он не знал своей обязанности, а сбруя ему мешала. Кроме того, ему больше не позволялось спать вместе с Котуко, и бедняге пришлось довольствоваться самым холодным местом в снежном коридоре. Грустное время наступило для Котуко-пса.

Мальчик учился так же быстро, как собака; однако управлять собачьей упряжкой – такое дело, от которого можно потерять терпение. Самых слабых псов помещают как можно ближе к погонщику; от сбруи каждой собаки идет отдельная постромка, протянутая под ее левой передней ногой; она прикрепляется к главной постромке с помощью чего-то вроде пуговицы и петли; одним движением руки ее можно пристегнуть или отстегнуть и таким образом освободить на время одну собаку. Это действительно необходимо, потому что очень часто постромка попадает между задними ногами молодой собаки и может разрезать ее тело до самой кости. Кроме того, на бегу псы стараются «повидаться» со своими друзьями и прыгают между постромками, дерутся, и в результате ремни запутываются хуже мокрой лесы, оставленной с

вечера до утра. Всех этих неприятностей можно избежать, умело действуя кнутом. Каждый мальчик-инуит считает, что он отлично владеет длинным кнутом. Нелегко попадать плетеным ремнем в намеченную точку на земле, еще труднее на полном ходу наклониться и попасть взбунтовавшейся собаке по спине. Если вы позовете одну собаку по имени, когда она «беседует» с другой, и случайно ударите другую, они непременно подерутся между собой и остановят всю упряжку. Опять же: если вы путешествуете с товарищем и примetесь разговаривать с ним или наедине с собой запоете песню, собаки остановятся, повернутся и сядут, чтобы послушать, что вы хотите сказать. Несколько раз Котуко, забывший хорошенько закрепить сани при остановке, бывал сброшен в снег и погубил несколько ремней раньше, чем ему доверили полную упряжку из восьми собак и легкие сани. Получив все это, мальчик почувствовал себя важной персоной и стал отважно носиться по черному льду с быстротой стаи гончих собак. Проехав десять миль до тюленьих отдушин, он отстегивал одну постромку от питу и освобождал большого черного вожака, самого умного пса из всех. Едва собака чуяла отдушину и давала об этом знать, Котуко переворачивал сани и погружал в снег пару подпиленных оленьих рогов, которые, точно рукоятки детской колясочки, торчали сзади. Это делалось, чтобы собаки не могли уйти. Потом мальчик дюйм за дюймом осторожно крался вперед, выжидая, чтобы тюлень поднялся к отдушине подышать. Как только показыва-

лась голова зверя, Котуко быстро кидал в него свое копье на привязи и притягивал его к кромке льда; черный вожак подбегал к нему и помогал протащить убитого зверя к саням. Упряжные собаки выли, и их пасти покрывались от возбуждения пеной; Котуко хлестал их по мордам, как раскаленной сталью, пока убитый тюлень не замерзал так, что становился крепким. Возвращение представляло трудную работу. Приходилось следить за санками, пересекавшими неровный лед; собаки садились и, вместо того чтобы тащить их, жадно посматривали на добычу. Наконец выезжали на санную дорогу к деревне и двигались по звонкому льду; собаки опускали головы, поднимали хвосты, а Котуко начинал петь песню «Возвращающегося охотника», и под сумрачным, усеянным звездами небом из каждого дома до него долетали голоса.

Когда Котуко-пес вполне вырос, он стал тоже наслаждаться. Он медленно завоевывал себе почетное место среди остальных собак, подвигаясь вперед после каждого боя. И вот в один прекрасный вечер он во время еды оттрепал черного большого вожака (Котуко-мальчик видел, что это был честный бой) и после этого сделался, как называют инуиты, помощником. Наконец он занял место вожака и стал бегать на пять футов впереди всех остальных собак, получив обязанность прекращать все драки, были ли собаки в сбруе или на свободе, и стал носить очень тяжелый и толстый ошейник из медных проволок. В особых случаях его кормили в доме вареной пищей; иногда ему позволялось спать на скамье

рядом с Котуко. Он был хорошей тюленьей собакой и умел останавливать мускусного быка, прыгая вокруг него и хватая его за ноги. Он даже (а для упряжной собаки это высочайшее доказательство мужества) шел один на один против тощего полярного волка, которого все северные собаки боятся больше, чем всех остальных зверей, бродящих по снегу. Он и его хозяин (они не считали своими товарищами обыкновенных упряжных собак) охотились каждый день и каждую ночь: мальчик, закутанный в мех, и лютая длинношерстая желтая собака с узкими глазами и с белыми клыками. У инуита есть только одно дело: добывать пищу и теплые шкуры для себя и своей семьи. Женщины делают из шкур платье, иногда помогают ловить в силки мелкую дичь; главный же запас еды (а едят они чудовищно много) должны добывать мужчины. Если запас пищи истощится, не у кого купить, попросить или занять съестных припасов, приходится умирать.

Инуит не думает о бедах, пока они не вырастают перед ним. Кадлу, Котуко, Аморак и новорожденный мальчик, который шевелился в меховой сумке Аморак да целый день жевал тюленье сало, составляли самую счастливую семью в мире. Они принадлежали к очень кроткой расе (инуит редко выходит из себя и почти никогда не бьет ребенка), к расе, не знавшей, что значит солгать по-настоящему, а еще меньше умевшей красть. Они довольствовались пропитанием, которое доставали среди лютого, безнадежного холода; улыбались масляными губами; по вечерам рассказывали странные

истории о привидениях или сказки; ели до пресыщения и пели бесконечные «женские» песни «Амна айя, айя амна ах! Ах!» в течение целых дней при свете ламп и под эти звуки чинили свое платье и охотничьи принадлежности.

Но в одну страшную зиму все изменилось. Тунунирмиуты вернулись со своей ежегодной ловли лососей и построили жилища на раннем льду, к северу от острова Байлот, чтобы, едва море замерзнет, отправиться за тюленями. Но стояла ранняя и лютая осень. Весь сентябрь непрерывные бури ломали гладкий лед, когда он еще лежал слоем всего в четыре или пять футов толщиной, выжимали его на сушу и наконец образовывали огромную преграду, миль в двадцать шириной, состоявшую из исковерканных, покрытых зазубринами льдин, и по этой поверхности не было возможности протащить собачьи сани. Окраина ледяного поля, на которой обыкновенно ловили тюленей, лежала приблизительно милях в двадцати от этой преграды, и тунунирмиуты не могли добраться до нее. Конечно, они все-таки прожили бы зиму, питаясь запасом мороженых лососей, тюленьего жира и дичью, попадавшейся в силки, но в декабре один из их охотников натолкнулся на «тупик» (палатку из звериных кож); в ней были три женщины и девушка-подросток, все слабые, почти умирающие. Мужчины из этой семьи пришли с севера и были раздавлены льдами, когда они в своих легких кожаных лодках преследовали нарвалов. Понятно, Кадлу осталось только разместить этих женщин по зимним хи-

жинам своей деревни: инуит никогда не решается отказать чужестранцу в пище. Он не знает, когда настанет его очередь просить! Аморак взяла девушку, которой было лет четырнадцать, в свой дом и превратила ее в нечто вроде служанки. Судя по ее остроконечной шапке и по узору в виде ромбов на ее высоких сапогах из кожи белого оленя, предполагалось, что она уроженка Эльсмирской земли. Девушка с севера никогда раньше не видывала жестяных котелков и саней с деревянными полозьями, но Котуко-мальчик и Котуко-собака очень полюбили ее.

Скоро все лисицы ушли на юг, и даже росомаха, этот ворчащий, тупоносый вор, не соблаговолила пройти вдоль ряда пустых силков Котуко. Племя потеряло двух своих лучших охотников, жестоко изуродованных во время боя с мускусным быком, и на плечи остальных легла лишняя работа. Котуко каждый день выходил на охоту с легкими охотничьими санками и с шестью или семью самыми сильными собаками; он смотрел до боли в глазах, отыскивая кусочек чистого льда, где тюлень мог прокопать для себя отдушину. Котуко-пес бегал взад и вперед, и среди мертвой тишины этих снежных полей Котуко-мальчик слышал его полузаглушенное повизгивание; на расстоянии трех-четырех миль оно слышалось так ясно, точно раздавалось рядом. Когда собака находила отдушину, мальчик выстраивал маленькую низкую снежную стену для защиты от невыносимого ледяного полярного ветра, садился и ждал десять, двенадцать, иногда двадцать ча-

сов, чтобы тюлень подплыл подышать; глаза охотника не отрывались от маленькой метки над полыньей, которая должна была руководить ударом его гарпуна. Он сидел на коврике из тюленьей кожи, стянув ноги тутаренгом, ремнем, о котором ему раньше толковали старые охотники. Тутаренг удерживает от дрожи ноги человека, когда он все ждет, ждет и ждет, чтобы к поверхности воды подплыл тюлень, обладающий тонким слухом. Это неволнующая охота, и вы легко поверите, что такое неподвижное ожидание со связанными ногами, в то время как термометр показывает приблизительно сорок градусов ниже нуля, самая тяжелая работа. Когда тюлень бывал убит, Котуко-пес делал прыжок вперед, волоча за собою ремень, и помогал своему хозяину тащить зверя к саням, где под защитой громад льда лежали утомленные, голодные, мрачные собаки.

Тюленьего мяса хватало ненадолго; в маленькой деревне каждый рот имел право на еду, и ни одна кость, ни один кусок кожи или сухожилия не пропадали даром. Собачий корм теперь служил пищей для людей, и Аморак кормила упряжных псов кусками старой кожи летних палаток, вытащенных из-под скамеек для спанья. Бедные животные выли без конца; даже по ночам просыпались и выли от голода. Судя по каменным лампам в хижинах, становилось понятно, что голод подходит. В хорошие года, при изобилии тюленьего жира, пламя в этих лодкообразных плошках поднималось на высоту двух футов, было весело, желто, маслянисто. Теперь

оно едва достигало шести дюймов. Когда пламя разгоралось сильнее, Аморак заботливо придавливала светильню из моха, и глаза всей семьи следили за ее рукой. Голод при страшном морозе не так смертельно ужасен, как страх умереть без света. Инуит боится темноты, которая без перерыва гнетет его шесть месяцев в году, и, когда лампы горят тускло, мысли этих северян мешаются, делаются печальны. Но надвигалось еще худшее. Ненакормленные собаки лязгали зубами, ворчали в туннель, пылающими глазами смотрели на холодные звезды и по ночам нюхали свирепый ветер. Когда их вой прекращался, наступала полная тишина, такая же тяжелая, как сугробы подле дверей; люди слышали биение крови в своих ушах и удары собственных сердец, громкие, как бой барабанов колдунов.

Раз ночью Котуко-пес, который был необыкновенно мрачен в этот день, вскочил, толкнул головой колено Котуко. Котуко погладил его, но собака снова, ласкаясь, толкнула его колено. Тогда проснулся Кадлу, схватил большую волчью голову пса и заглянул в его стеклянистые глаза. Собака задрожала и жалобно взвизгнула, зажатая коленями Кадлу. На ее шее поднялась шерсть; она заворчала, точно подле дверей был кто-то чужой, и вдруг весело залаяла, стала валяться по полу, как щенок, покусывая сапог Котуко.

– Что это? – спросил Котуко. Ему стало страшно.

– Это болезнь, – ответил Кадлу. – Собачья болезнь.

Котуко-собака подняла голову, завыла, замолчала и снова

начала выть.

– Я прежде не видал этого. Что же с ним будет? – спросил Котуко.

Кадлу пожал одним плечом и перешел через хижину за своим коротким гарпуном. Большой пес посмотрел на него, снова завыл и, скорчившись, пошел по туннелю, другие собаки расступались перед ним, давая ему дорогу. Выбежав наружу, на снег, он ожесточенно залаял, точно напав на след мускусного быка, и с лаем, прыгая и играя, исчез из виду. Это была не водобоязнь, а простое, настоящее сумасшествие. Холод, голод, главное же, темнота подействовали на его голову. Раз одну собаку охватывает эта страшная собачья болезнь, она распространяется и на других собак с быстротой лесного пожара. Во время следующей охоты днем заболела еще собака, и Котуко убил ее, когда она кусалась и билась среди постромок. Потом черный пес, помощник, бывший вожак, внезапно кинулся по воображаемому следу северного оленя и, когда его спустили, бросился на груду льда, наконец убежал, как это сделал Котуко-пес, унося с собой и свою сбрую. Теперь никто не стал выводить собак на охоту. Они могли пригодиться для других целей, и собаки знали это, и, хотя их привязали и кормили из рук, глаза бедных животных горели отчаянием и страхом. Точно для того, чтобы еще ухудшить дело, старые женщины принялись рассказывать истории о привидениях; говорить, что они видели духов охотников, погибших в эту осень, и что эти призраки предсказыва-

ли всевозможные страшные бедствия.

Котуко больше жалел о пропаже своей собаки, чем о чем-либо другом, потому что, хотя инуит ест чудовищно много, он также умеет голодать. Тем не менее голод, темнота, мороз и вечное пребывание на морозе подействовали на мозг мальчика: ему стали слышаться голоса, он начал видеть людей, которых не было поблизости. Раз после десятичасового ожидания подле «слепой» тюленьей отдушины Котуко снял со своих ног ремень и побрел к деревне, слабый, чувствуя головокружение; вот он остановился и прислонился спиной к каменной глыбе, которая держалась на одном выступе льда. Вес мальчика нарушил равновесие камня, он покатился. Котуко прыгнул в сторону, чтобы увернуться от него, скользнул и с шипением полетел за ним по ледяному откосу. Этого было достаточно для Котуко. Его давно убедили, что в каждом утесе, в каждом камне есть жилец (его инуа). Обычно этот инуа – одноглазая женщина по имени Торнак; когда такая Торнак желает помочь человеку, она катится за ним в своем каменном доме и спрашивает его, желает ли он, чтобы она сделалась его духом-покровителем. Летом ледяные опоры скал тают и каменные глыбы катятся на каждом шагу; таким образом, вы легко поймете, почему родилась мысль о живых камнях. Целый день Котуко слышал в своих ушах шум крови и думал, что это его Торнак говорит с ним. К тому времени, как он вернулся домой, мальчик вполне убедился, что он вел длинный разговор с ней, и, так как Кадлу и все

остальные считали это вещью возможной, никто не стал ему перечить.

– Она мне сказала: «Я качусь вниз, качусь вниз, с моего места на снегу», – говорил Котуко с горящими глазами, наклоняясь вперед. – Она сказала: «Я буду проводницей». Она сказала: «Я буду водить тебя к хорошим тюленьим отдушинам». Завтра я пойду поохотиться, и Торнак пойдет со мной.

Пришел ангекок, местный колдун, и Котуко повторил ему то же самое. При повторении рассказ не стал хуже.

– Иди за торнайтами (духами камней), и они доставят нам еду, – произнес ангекок.

В течение нескольких последних дней девушка с севера лежала подле лампы, ела мало, говорила еще меньше; но, когда на следующее утро Аморак и Кадлу приготовили маленькие ручные санки и нагрузили на них все охотничьи принадлежности и то количество тюленьего жира и мороженого мяса, которое могли выделить сыну, она взялась за постромку и зашагала рядом с Котуко.

– Твой дом – мой дом, – сказала она, когда санки с костяными полозьями, скрипя и громыхая, покатились среди ужасной полярной ночи.

– Мой дом – твой дом, – ответил Котуко. – Но мне кажется, что мы с тобой оба уйдем к Седне.

Седна – властительница подземного мира, и инуит верит, что каждый умерший должен целый год пробыть в ее ужасной стране и только после этого может попасть в квадлипар-

миут, счастливое место, где никогда не бывает мороза и толстые северные олени прибегают на зов людей.

Жители кричали: «Торнайты говорили с Котуко. Они покажут ему чистый лед. Он опять принесет нам тюленя!» Но холод скоро поглотил их голоса, сомкнулась густая тьма, Котуко и девушка шли рядом, натягивая постромки и направляясь к полярному морю. Котуко настойчиво повторял, что Торнак камня велела ему идти на север, и на север они шли под Туктукджунгом-Оленем, то есть под теми звездами, которые мы называем Большой Медведицей.

Ни один европеец не мог бы пройти и пяти миль в день по ледяным торосам и обледенелым высоким сугробам; но Котуко и его спутница умели так поворачивать кисти рук, чтобы заставить сани объезжать бугор, или так дернуть постромки, чтобы провести сани над трещиной; знали они также, сколько надо затратить сил, чтобы несколько раз спокойно ударить по льду наконечником копья и сделать тропинку проходимой.

Северная девушка не говорила, она только наклоняла голову, и длинная бахрома из меха росомахи, окаймлявшая ее горностаевый капюшон, падала на ее широкое темное лицо. Над ними распростерлось бездонное черное бархатное небо, на горизонте сменявшееся полосой оттенка индийской красной краски; большие звезды горели там, как уличные фонари. Время от времени зеленоватая волна северного сияния прокатывалась по высокому небу, мерцала, как флаг, потом

исчезала; по временам метеор с треском пролетал из темноты в темноту, оставляя за собой целый поток искр. Тогда они видели изрезанную гребнями и рвами поверхность ледяного поля, на которой играли странные оттенки: красный, медный, синеватый; когда же светили одни звезды, все делалось одинаковым, серым, безжизненным, скованным морозом. Как вы помните, осенние бури терзали и волновали море так, что оно превратилось в какое-то замерзшее землетрясение. Виднелись рвы, ущелья и впадины, похожие на песочные ямы, – все прорезанное во льду; ледяные глыбы и отколовшиеся куски лежали, примерзшие к первоначальной ледяной поверхности; валялись обломки старого черного льда, загнанные напором ветра под ледяной пласт и снова поднявшиеся вверх; рядом были округлые ледяные валуны, зубчатые гребни, образованные снегом, который летит, гонимый ветром, наконец, глубокие ложбины площадью в тридцать-сорок акров, расположенные ниже уровня основного ледяного поля. На некотором расстоянии вы могли бы принять ледяные глыбы одну за тюленя, другую за моржа, или же за опрокинутые санки, или за людей-охотников, или же за самого огромного десятиногого белого медведя-призрака; однако, несмотря на такие фантастические формы, как бы готовые ожить, не слышалось ни звука, ни даже малейшего слабого шума. И среди этой тишины по этой пустыне, в которой внезапный свет вспыхивал и гас, санки и две фигуры, тащившие их, двигались, как фантастические обра-

зы в кошмаре светопреставления на самой окраине мира.

Когда они уставали, Котуко строил то, что охотники называют «полудомом», – очень маленькую снежную хижину; в ней они отдыхали, взяв с собою походную лампу, и старались оттаять кусок мороженого тюленьего мяса. Выспавшись, они снова пускались в путь и проходили тридцать миль в день, чтобы подвинуться на десять миль к северу. Девушка почти все время молчала; Котуко же бормотал что-то про себя или время от времени пел песни, которым научился в «доме песен», молельне: летние песни, оленьи, песни лосося – все очень неуместные в это время года. Иногда он объявлял своей спутнице, что с ним говорит Торнак, и быстро поднимался на пригорок, вскидывая руки с громким угрожающим криком. Говоря правду, в то время Котуко был близок к помешательству, но его молчаливая спутница верила, что дух-хранитель направляет его и что все окончится хорошо. Поэтому она не удивилась, когда в конце четвертого перехода Котуко, глаза которого горели, как огненные шарики, сказал ей, что его Торнак идет за ними по снегу в форме двухголовой собаки. Девушка посмотрела в ту сторону, куда показывал Котуко: что-то действительно скользнуло в ложбину. Конечно, не человек, но ведь всякий же знает, что торнайты предпочитают являться в образе медведя, тюленя или другого зверя.

Может быть, это был сам десятиногий белый призрак-медведь или еще что-нибудь другое? Котуко и его спут-

ница до того изголодались, что не могли полагаться на свои глаза. С того времени как они вышли из деревни, им не удалось поймать в силки никакого зверя; они даже не видали следов дичи; запаса пищи могло им хватить только еще на одну неделю; вдобавок подходила буря. Полярная буря может бушевать десять дней без всякого перерыва, и все это время путнику грозит смерть. Котуко выстроил снежный дом, настолько просторный, чтобы в нем поместились санки (он хотел иметь под рукой запас пищи), и, когда укреплял в снегу последний кусок льда неправильной формы, который служит замковым камнем крыши, увидал, что на небольшом ледяном утесе на расстоянии мили от новой постройки стоит какое-то существо и смотрит на него. В туманном, неясном воздухе существо это, казалось, имело сорок футов в длину и десять в высоту, с двадцатифутовым хвостом; все его контуры колебались и дрожали. Девушка с севера тоже увидала существо, но не закричала от ужаса, а спокойно заметила:

– Это Квикверн. Что будет дальше?

– Он заговорит со мной, – ответил Котуко, но нож для снега дрогнул в его руке: как бы ни был человек уверен в том, что он в дружбе со страшными и безобразными духами, он все же не любит быть пойманным на слове.

Квикверн – призрак исполинской беззубой и безволосой собаки; предполагается, что она живет на далеком севере и разгуливает повсюду, предвещая этим начало великих событий. Они могут быть приятны или неприятны; во всяком слу-

чае, даже колдуны не любят говорить о Квикверне. Именно он сводит собак с ума. Как и у призрачного медведя, у этого исполинского пса несколько лишних пар ног – шесть или восемь. Чудище, которое видели Котуко и его спутница, прыгало в дымке тумана, и у него оказывалось больше ног, чем нужно обыкновенной собаке. Котуко и северная девушка быстро юркнули в свою хижину. Конечно, если бы Квикверн пожелал добраться до них, он мог бы разметать крышу над их головами, тем не менее сознание, что пятифутовая снежная стена отделяла их от страшной темноты, служило для них успокоением. Ветер визгнул, напоминая крик поезда, началась буря, она продолжалась трое суток без малейшей передышки, и ветер бушевал, не утихая ни на минуту. Котуко и его спутница поочередно держали между коленями каменную лампу, подбавляя в нее тюлений жир, ели полутеплое тюленье мясо и смотрели, как черная сажа собиралась на крыше; все это в течение семидесяти двух долгих часов. Девушка измерила количество мяса в санях, его осталось всего дня на два, Котуко осмотрел железные наконечники и привязи из оленьих жил на своем гарпуне, на тюленьем копье и на птичьей стреле. Больше нечего было делать.

– Скоро мы уйдем к Седне, очень скоро, – прошептала девушка с севера. – Через три дня мы ляжем и уйдем. Неужели твоя Торнак не поможет нам? Спой ей песню ангекока, чтобы призвать ее.

Котуко запел высоким, завывающим тоном волшебных

песен, и буря медленно утихла. В середине его песни северянка вздрогнула и опустила на ледяной пол хижины сначала свою руку в рукавице, а потом и голову. Котуко последовал ее примеру, скоро оба стали на колени, глядя друг другу в глаза, и, напрягая все свои нервы, слушали. Юноша оторвал тонкую серебристую пластинку китового уса от края птичьего силка, который лежал на санях, распрямил ее и рукавицей укрепил в маленьком углублении во льду. Эта пластинка была почти так же нежна, как игла компаса, и теперь, перестав слушать, они наблюдали. Тонкий прутик слегка задрожал; это было самое незаметное колебание в мире; потом несколько секунд он вибрировал, успокоился, снова задрожал, на этот раз указывая совсем в другую сторону.

– Слишком рано, – сказал Котуко. – Где-то далеко, далеко отсюда взломалось ледяное поле.

Девушка указала на прутик и покачала головой.

– Сильные толчки, – сказала она. – Ломается большое пространство. Послушай нижний лед. Он вздрагивает.

Когда они снова опустились на колени, на этот раз до их слуха донеслось странное заглушенное ворчание как будто из-под ног; почувствовали они также удары. Иногда казалось, будто над лампой взвизгивал слепой щенок, потом точно кто-то ворочал большой камень по льду, потом раздавались как бы удары барабана, но все звучало глухо, точно доносилось откуда-то издалека сквозь маленький рупор.

– Мы не пойдем к Седне, – сказал Котуко. – Лед ломается.

Торнак нас обманула: мы умрем.

Все это может казаться нелепостью, но перед ними стояла настоящая опасность. Трехдневная буря погнала воду Баффинова залива на юг, и она залила окраину далеко выходящего материкового льда, который простирался от острова Байлот к западу. Кроме того, сильное течение, которое бежит к востоку от Ланкастерского пролива, несло с собой миля за милей то, что местные жители называют «плавучим льдом», – ледяную шугу, эти куски бомбардировали ледяную поверхность, в то же время возмущенное бурей море разрушало и взламывало ее. Котуко и его спутница слышали только отзвуки борьбы, происходившей за тридцать-сорок миль от них. А маленький, так много говорящий прутик дрожал от этих ударов.

Инуиты говорят, что, раз лед становится некрепким после долгого зимнего сна, трудно предвидеть, что случится дальше, потому что твердое ледяное поле изменяет свой абрис чуть ли не с такою же скоростью, как облако. Налетевшая буря, очевидно, была преждевременной, весенней, и было возможно решительно все.

Тем не менее Котуко и северянка чувствовали себя счастливее прежнего. Если лед сломается, им не придется больше выжидать и страдать. Духи, привидения и волшебные существа двигались по качающемуся льду, значит, девушка и ее спутник могли вступить в область Седны вместе с этими удивительными существами, продолжая чувствовать волне-

ние и восторг. Буря улеглась, они вышли из хижины; шум на горизонте постепенно возрастал, и крепкий лед стонал и трещал вокруг них.

– Он все еще ждет, – заметил Котуко.

На вершине снежного холма, не то сидя, не то скорчившись, ждало восьминогое чудовище, которое они видели три дня тому назад, и выло страшным голосом.

– Пойдем за ним, – сказала девушка. – Может быть, Квикверн знает дорогу, которая ведет не к Седне. – Она взялась за постромку, но зашаталась от слабости.

Чудовище неуклюже и медленно двинулось по снежным гребням, постоянно держась направления к земле; они пошли за ним, а ворчащий гром на окраине ледяного поля раскатывался и становился ближе. Поверхность льда, треща, раскалывалась по всем направлениям; огромные ледяные пласты толщиной футов в десять и от нескольких ярдов до двадцати акров в квадрате ныряли, прыгали, находили один на другой или на еще не взломанную поверхность ледяного поля, повинуясь сильным волнам, которые сотрясали их и с пеной прокатывались между ними. Этот лед, похожий на таран, составлял, так сказать, первую армию, высланную морем против ледяных полей. Непрерывный грохот и удары огромных пластов почти поглощали треск и звон тех партий отдельных ледяных глыб, которые ветер загонял под крепкий лед, как мы прячем карты под салфетку на столе. В мелкой воде ледяные пласты громоздились друг на друга, ниж-

ние врезались в ил на глубине пятидесяти футов, а бушующее море так сильно напирало на илистый лед, что наконец давление воды снова двигало вперед все эти груды. Вдобавок буря и течения принесли с собой настоящие айсберги, плавающие ледяные горы, оторванные от берега Гренландии или от северного берега полуострова Мельвиль. Они торжественно ударялись о лед, белые волны разбивались о них, и они шли к ледяному полю, точно древний флот на всех парусах. Гора, казалось, готовая унести весь мир раньше, чем беспомощно сесть на мель, переворачивалась, валялась среди пены, грязи и разбрасывала замерзшие брызги, тогда как гораздо меньший и не такой высокий обломок льда врезался в плоский край ледяного поля, раскидывая во все стороны целые тонны льда раньше, чем останавливался. Некоторые глыбы, точно мечи, прорубали каналы с неровными краями; некоторые рассыпались градом осколков, из которых каждый весил несколько десятков тонн, и все катились и вращались среди ледяных торосов. Иногда льдины, сев на мель, дыбом поднимались над водой, кривились, точно от боли, и тяжело падали набок, а волны их захлестывали.

По всей северной окраине ледяного поля, насколько хватало глаз, происходила сумятица: лед ломался, толкался, принимал всевозможные формы. С того места, где были Котуко и северная девушка, все это смятение, вся эта борьба казались какой-то беспокойной рябью, каким-то незначительным движением на горизонте; но оно с каждым мгно-

вением приближалось к ним; издали, со стороны земли они слышали тяжелые удары, похожие на грохот артиллерийских выстрелов, доносящихся сквозь туман. Это значило, что ледяное поле было зажато железными утесами острова и отодвинуто к земле на юг.

– Ничего подобного никогда не бывало прежде, – тупо глядя вперед, заметил Котуко. – Еще рано. Как может теперь ломаться лед?

– Пойдем за «этим», – сказала северянка, показывая на существо, которое, хромая, бежало перед ними.

Они двинулись за ним и повезли свои ручные санки; а громовое шествие льда становилось все ближе. Наконец ледяное поле звездообразно треснуло около них, и трещины разбежались во все стороны, а потом разверзлись и лязгнули, как волчьи зубы. Но там, где остановилось существо, на холме из старых, отдельных ледяных глыб, поднимавшемся футов на пятьдесят, не было движения. Котуко опрометчиво кинулся вперед, таща за собою свою спутницу, и так добрался до подножия холма. Голос льда делался громче, но пригорок стоял неподвижно, и, когда девушка посмотрела на Котуко, он двинул своим правым локтем от себя и поднял его вверх, таким знаком инуит обозначает землю, вернее, остров. И действительно, восьминогое хромающее создание привело их к земле, к гранитному островку с песчаной отмелью; этот лежавший недалеко от берега остров был так одет, окутан и замаскирован льдом, что ни один человек в мире не мог бы отли-

чить его от ледяной глыбы, тем не менее в его сердцевине была твердая земля, а совсем не хрупкий лед. Ледяное поле рушилось, куски льда отскакивали, разламывались, дробились, обозначая его границы; вот из-подо льда показалась мель; она тянулась к северу и отражала натиск самых огромных и тяжелых льдин, опрокидывая их совершенно так, как лемех плуга переворачивает землю. Конечно, опасность еще не миновала; какая-нибудь сдавленная, огромная льдина могла надвинуться на берег и смести весь островок, но это не пугало Котуко и девушку с севера. Они устроили снежный дом и стали есть, слушая, как лед шипел вдоль отмели. Существо исчезло. Теперь Котуко, сжимая коленями лампу, с волнением говорил о своей власти над духами. Но в середине его сбивчивой речи девушка засмеялась, раскачиваясь вперед и назад.

Из-за ее плеча осторожно выглянули две головы, одна желтая, другая черная; это были головы двух самых опечаленных и пристыженных собак, которых вы когда-либо видели. Одна была Котуко-пес, другая – черный вожак. Обе жирные, красивые и обе совершенно здоровые, но они оказались связаны между собой. Вспомните: черный вожак убежал со своей сбруей. Он, вероятно, встретил Котуко-пса, стал играть с ним, или они подрались; во всяком случае, его наплечная петля зацепилась за ошейник из медной проволоки, обвивавший шею Котуко, и затянулась; таким образом, ни один из бедных псов не мог дотянуться до постромки, чтобы пе-

регрызть ее, их соединяла как бы смычка, каждый пес был прижат к плечу своего соседа. Это обстоятельство вместе с возможностью охотиться только для себя, вероятно, излечило их от безумия. Теперь обе собаки совершенно выздоровели.

Северная девушка толкнула двух пристыженных псов к Котуко и, задыхаясь от смеха, сказала:

– Вот этот Квикверн отвел нас в безопасное место… Посмотри-ка, у него восемь ног и две головы!

Котуко перерезал ремень, и обе собаки, черная и желтая, кинулись к нему в объятия, стараясь по-своему объяснить, как они отделались от безумия. Котуко провел рукой по их бокам, круглым и полным.

– Собаки нашли пищу, – с усмешкой сказал он. – Вряд ли мы так скоро пойдем в область Седны. Моя Торнак прислала их. Они отделались от болезни.

Покончив с приветствиями, собаки, которые несколько недель волей-неволей вместе спали, ели и охотились, бросились друг на друга, и в снежном доме произошел великолепный бой.

– Голодные собаки никогда не дерутся, – заметил Котуко. – Они отыскали тюленя. Давай заснем, у нас скоро будет пища.

Когда Котуко и девушка проснулись, с северной стороны островка появилась открытая вода, отдельные льдины были отогнаны в сторону земли. Первый звук прибоя – самая вос-

хитительная музыка для инуита: он обозначает приближение весны. Котуко и девушка с севера взяли друг друга за руки и улыбнулись, ясный, мощный грохот прибоя среди льда напомнил им о наступлении времени ловли лососей и охоты на оленей и воскресил в их памяти запах цветущих низкорослых ив. На их глазах вода между плавающими льдинами начала затягиваться корками – так силен был холод; зато на горизонте разливалось широкое красное сияние – свет утонувшего солнца. Казалось, это больше походило на зевок светила во время его глубокого сна, чем на первые лучи восхода; блеск солнца продержался всего несколько минут, однако он обозначал поворот года. Котуко и девушка чувствовали, что ничто в мире не могло изменить этого.

Котуко застал собак во время драки над только что убитым ими тюленем, который приплыл за встревоженной бурей рыбой. Этот тюлень был первый из двадцати или тридцати, в течение дня приплывших к островку; пока море не замерзло совершенно, несколько сотен черных голов виднелось в мелкой воде или плавало посреди отдельных льдин.

До чего было приятно снова поесть тюленьей печенки, не скупясь наполнить лампы тюленьим жиром и смотреть, как в воздухе пылает пламя, поднимаясь на три фута! Однако, едва окреп новый лед, Котуко и его спутница нагрузили санки и впрягли в них двух собак, и все они тянули так, как еще никогда прежде. Котуко и девушка боялись за оставшихся в деревне. Стояла такая же безжалостная погода, как всегда, тем

не менее легче везти санки, нагруженные съестными припасами, чем охотиться, умирая от голоду. Они зарыли в лед на отмели двадцать пять убитых и разделанных тюленей и поспешили домой. Котуко сказал собакам, чего он от них ждет, и псы показывали ему дорогу; таким образом, хотя нигде не было ни признака зарубок или вех, через два дня псы стояли подле дома Кадлу и лаяли. Им ответили только три собаки, остальных съели, во всех домах было темно. Но когда Котуко закричал: «Ойо!» – «вареное мясо», – послышались слабые голоса, когда же он сделал перекличку жителей деревни – откликнулись решительно все.

Через час в доме Кадлу запылали лампы, снежная вода согревалась, котлы начали петь и с крыши закапала вода. Аморак приготовила обед для своей деревни; ее малютка в меховой сетке жевал кусок жирного, маслянистого тюленьего сала; охотники же медленно и методично досыта наедались тюленьим мясом. Котуко и северная девушка рассказывали о том, что случилось. Между ними сидели две собаки; слыша свое имя, каждая из них поднимала одно ухо с крайне пристыженным видом. По словам инуитов, та собака, которая раз сходила с ума, навсегда избавлена от опасности повторения подобных припадков.

– Видите, Торнак нас не забыла, – сказал Котуко. – Налетела буря, лед сломался, тюлени поплыли за рыбой, испуганной порывами ветра. Теперь новые тюленьи отдушины всего в двух днях пути от нас, даже меньше. Пусть хорошие охот-

ники отправятся завтра и притащат сюда тюленей, которых я убил копьем, – двадцать пять тюленей я зарыл во льду! Когда мы съедим их, мы все снова пойдем на охоту.

– Что ты делаешь? – спросил колдун тем тоном, каким он обыкновенно разговаривал с Кадлу, самым богатым человеком в Тунунирмиуте.

Кадлу посмотрел на девушку с севера и спокойно ответил:

– Мы строим дом. – И он указал к северо-западу от своего жилища, потому что именно с этой стороны дома родителей всегда селится их женатый сын или замужняя дочь.

Северная девушка подняла свои руки ладонями вверх и немного уныло покачала головкой. Она чужестранка. Ее подобрали полумертвую от голода, и она ничего не могла принести в хозяйство.

Аморак быстро поднялась со скамьи и принялась бросать на колени девушки разные разности: каменные лампы, железные скребки для кожи, жестяные котлы, оленьи шкуры, вышитые зубами мускусного быка, и настоящие парусные иглы, употребляемые моряками. Это было самое лучшее приданое, когда-либо виданное на дальней окраине Полярного круга, и девушка с севера склонила голову до самого пола.

– И вот эти, – смеясь и напевая на ухо собакам, сказал Котуко, и псы коснулись своими холодными носами лица девушки.

– Ах! – проговорил ангекок и кашлянул с важным видом, точно глубоко обдумывая что-то. – Как только Котуко ушел,

я прошел в молельню и запел волшебные песни. В течение долгих-долгих ночей я все пел и взывал к духу оленя. Это от моих песен началась буря, которая сломала лед и пригнала двух собак на Котуко, как раз в ту минуту, когда лед мог изломать его кости. Это мои песни заставили тюленей плыть вслед за разбитым льдом. Мое тело лежало неподвижно, но дух носился по льду и направлял Котуко и собак, заставляя их делать все, что они сделали. Все совершил я.

Все уже наелись, всем хотелось спать, а потому никто не стал спорить. Тогда ангекок в силу своего положения взял себе еще кусок вареного мяса, съел его и лег вместе с остальными посреди этого теплого, ярко освещенного, пахнущего жиром дома.

Котуко, который, с точки зрения инуита, рисовал очень хорошо, выцарапал рисунки всех своих приключений на длинной костяной пластинке с отверстием с одного ее края. Когда он и северная девушка ушли на север в Эльсмирскую землю, в год чудесной зимы безо льда, он оставил этот рассказ в картинах Кадлу, а тот потерял пластинку, когда его санки сломались летом на берегу озера Нетилинга, в Никозиринге. Один приозерный инуит нашел ее следующей весной и продал в Имигене человеку, который был переводчиком на китоловной лодке в Кумберлендском проливе. Тот, в свою очередь, продал ее Гансу Ольсону, впоследствии занявшему место квартирмейстера на большом пароходе, который возил путешественников к Нордкапу в Норвегии. Когда за-

кончился сезон путешествий, пароход этот стал курсировать между Лондоном и Австралией, с остановками на Цейлоне. Там Ольсон продал пластину сингельскому ювелиру за два поддельных сапфира. Я нашел ее среди разного хлама в одном доме в Коломбо и перевел всю историю от начала до конца.